

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

РАССТАВАНИЕ С СОБЛАЗНАМИ

Глава первая. Возвращение

Ехал я в Москву с надеждой, даже уверенностью, что она оправдается, но все же без особого прилива радости. Не говоря уже о том, что мой отъезд из Караганды все-таки был вынужденным и походил на бегство (хотя и в желанном направлении), я не мог отвлечься и от того, что мне предстояло заново, второй раз ее обживать. Как я уже говорил, у меня и теперь, как в 1944 году, там не было ничего ощутимого — даже места в общежитии, которое было у меня до ареста... И все-таки многое отличалось от первого раза — теперь я многих там знал и меня многие знали, и это в какой-то мере облегчало мою задачу. Да, как и в первый раз, я не знал, где буду ночевать по приезде, но все же теперь мог быть уверен, что не на вокзале. Это было отличие в лучшую сторону. А в худшую? Наверное, то, что все-таки я стал старше более чем на десять лет — мне теперь не около двадцати, а около тридцати — и от мысли, что едешь, не зная, где приклонишь голову свою, было на душе более неуютно, чем тогда. Но выбора не было, и поезд вез меня в Москву

Довез он меня туда приблизительно 25 декабря 1954 года (может, даже чуть позже), то есть аккурат перед Новым годом. Куда я пошел с вокзала, где ночевал первую ночь, где жил первые дни и недели — не помню. Это начисто стерлось из памяти. Не из неблагодарности, а, вероятно, потому, что в этом все было похоже на то, что происходило в предыдущие приезды. Мои друзья предоставляли мне ночлег и тогда, когда это грозило им крупными неприятностями, что же было мне умиляться этому теперь, когда я был вполне легален? Люди жили в тесноте, отдельная квартира казалась роскошью, и редко у кого она была, но гос-

тей принимали и укладывали. Отсутствие специального апартамента для гостей, с чем я однажды столкнулся в Америке, никому не казалось непреодолимым препятствием для этого. И полагаю, что и не должно быть таковым — я согласен с Сент-Экзюпери, что общение — самая драгоценная роскошь. Грустно, что часто люди и общества, по мере улучшения материального положения, теряют способность ценить эту главную роскошь. На мой взгляд, это не только обесмысливает, но и ставит под сомнение всю систему ценностей, все успехи цивилизации. Безрелигиозная и при этом не имеющая и объединяющей земной цели западная молодежь (а для общения нужна общность, общее) придумывает себе ценности искусственные и воинственно их защищает, разрушая при этом ценности реальные, уговаривая при этом себя и других, что только таким образом эти ценности по-настоящему утверждаются. Не правда ли, читатель, нам это знакомо? На самом деле за всем этим — только жажда общности и общения. Впрочем, иногда это провозглашается и прямо — лозунгом «революция от скуки». Потребность в общности и общении хватается за любые лозунги.

Но это сегодняшние проблемы, и не совсем еще наши. Тогда же, слава Богу, для меня и моих друзей общение было даже не ценностью, а неотъемлемым качеством и условием бытия. Чем-то, по сравнению с чем неудобства, связанные с ночевкой друга, были величиной бесконечно малой, которой естественно пренебречь. И — пренебрегали. Конечно, неудобства от этого не переставали быть неудобствами, но не отказываться же из-за этого от полноты жизни! Короче, тогдашние мои ночевки потому и не обозначились в памяти, что проблем с ними у меня не было...

Безусловно, на этот раз мое положение и состояние отличались от того, что было в предыдущие приезды. То, что для гостя было естественно, для вернувшегося «навек поселиться» не могло не оборачиваться чувством бездомности. Но, видимо, и эта моя бездомность в действительности не выглядела столь трагично и сиротливо, как сам этот термин. И не помню я чувства усталости от такой жизни. Наверное, оно меня настигало, но, видимо, не занимало настолько большого места в тогдашней моей жизни, чтобы запомниться... Теперь мне не только понять, но даже и пред-

ставить такое трудно, но так было. Это тем более удивительно, что ко мне должна была приехать беременная жена, и забыть о том, что мне ее где-то надо поселить, я не мог. Я этого и не забывал, это меня беспокоило, но поскольку сделать я все равно ничего не мог, не знал даже как, я все равно — все-таки двадцать восемь не семьдесят шесть — сохранял завидное спокойствие в смутной уверенности, что все как-то само образуется. Уверенность меня не обманула: скоро действительно все образовалось. Но об этом чуть позже.

А пока я жил без этого. Через несколько дней после моего приезда состоялась новогодняя встреча нашего курса, и я на ней присутствовал. Об этой встрече я уже упоминал — это та самая встреча, во время которой я провокационно обращался к Грачевскому как к знатоку лагерного быта. Но сейчас я хочу говорить не о нем, а о других. Несмотря на семь лет разлуки и на то, что все мои сокурсники уже давно окончили институт и как-то функционировали в литературе или возле нее, а я по сравнению с ними был аутсайдером, воспринимали они меня как своего. Но такого своего, который повидал то, чего остальные не видели... Думаю, что и раньше, как и потом, до самой эмиграции, они не переставали ощущать меня своим. Как и я их. Но тогда к этому примешивался еще жгучий интерес и естественное любопытство.

А время было странное. Заключенных, — пусть пока не в массовом порядке, а только тех, кто подпал под амнистию, и тех, кого к этому времени по одному успели под нее подвести, — уже отпускали. Их встречали как героев. Особенно старых большевиков — в них еще видели светочей истины и честности, даже страдалцев за это... Что ж, сравнительно со Сталиным и его выдвигенцами «честный коммунизм», возможно, так и выглядит. И так выглядел для нас — ведь тогда никто еще и не думал отказываться от коммунизма. Но Сталин, хоть его все реже поминали в статьях и речах, официально все еще оставался вождем всего прогрессивного человечества и корифеем всех наук. И многим казался неприкасаемым.

Помню такой эпизод из тогдашней жизни. Весной я готовился к экзаменам с другим студентом-заочником, живущим в провинции, парнем совсем неглупым. Были мы

друг с другом абсолютно откровенны. После какого-то особенно резкого и непочтительного выражения об «отце народов» парень вполне по-дружески меня предупредил:

— Ты с этим поосторожней... А то опять попадешь...

Это не было несогласием. Он знал мои стихи на эту тему, и это вовсе не рождало в нем протеста. Просто до его окружения в том городе, где он жил, еще не дошло, что с «этим» теперь уже можно и не так осторожничать — другое время. Через год, уже после XX съезда, он мне сказал:

— Теперь тебе должны дать квартиру.

— Почему? — удивился я. В квартире (и в прописке, кстати) я действительно тогда остро нуждался, считал, что имею на это право, но не мог взять в толк, почему мне должны ее дать именно сейчас...

— А потому, что ты про Сталина правильно говорил и писал... Подай заявление*, увидишь.

Я был удивлен еще больше. Дело не только в том, что в успех такого заявления я начисто не верил — я просто не смог бы составить такое заявление. Я писал свои стихи потому, что у меня была потребность их писать, меня никто об этом не просил, я никому не делал этим одолжения. Наградой мне могло быть только внимание и благодарность читателя. Требовать за это иной компенсации представлялось мне чем-то противоестественным. Это значило бы не уважать себя и того, что я делал. Претендовать же на квартиру и прописку я и по своим представлениям имел право. Но не за заслуги, а на общих основаниях — как все репрессированные. Да, квартиры у меня не было и до ареста, но меня на семь лет выбросили из моей жизни; и такая компенсация была бы и необходима, и справедлива... Примерно так я и объяснил приятелю, и он со мной согласился. Впрочем, я рассказываю сейчас не о приятеле, а об атмосфере, в которой мы все жили.

* По-видимому, за то, что предугадал правильную линию партии и за это пострадал. Это общая черта, присущая советской психологии, — каждый, притесняемый враждебным режимом, попадая в СССР, вознаграждается почетом и привилегиями (иностранцы коммунисты в двадцатые годы). По этой логике я, пострадавший за то, что теперь признано правильным, подлежу тому же. Я думаю, что причина послевоенного антисемитизма отчасти в том, чтобы лишить евреев, пострадавших от нацизма (от врага!), «полагающегося» им по этой логике права на привилегии. Или целуем в задницу, или бьем по рожу.

Но это было уже через год, когда, пусть еще и не начав решать свою квартирную проблему, мы уже все-таки где-то жили, нашли жилье. Как это произошло? Тоже случайно. Однажды я встретил на улице своего друга, поэта Михаила Львова, мы поговорили — обо всем. В том числе и о моем житье-бытье, и Миша, узнав, как обстоят мои дела, вдруг вспомнил о двух своих знакомых, пожилых латышках, старых большевичках, которые просили его найти им надежного зимнего жильца для их дачи в Тарасовке, и предложил мне похлопотать за меня. Я, естественно, согласился, и дело сладилось. Сошлись мы быстро — я ведь и сам был тогда по духу старым большевиком. Имена и отчества этих добрых женщин я, к сожалению, забыл, хотя до сих пор храню благодарность и теплое чувство к ним.

Дача, о которой идет речь, расположена была, как выяснилось, не в Тарасовке и даже не в Черкизове*, а гораздо дальше — в сорока минутах ходьбы от станции, в урочище Мурашки. Надо было пересечь все Черкизово, а потом большой детский сад на его краю, оказаться в лесу и пойти влево, вдоль ряда дач, отделявших этот лес от Клязьмы. Одна из них была та, где жили мои старушки. Там я должен был жить в полном одиночестве и кормить двух немецких овчарок хозяйскими харчами — за это и пускали.

Собственно, и дача, и собаки принадлежали не старушкам. Им на одной из дач принадлежала только маленькая избушка, которую они построили на участке крупного работника Министерства авиационной промышленности Балакирева с его разрешения (жить меня, естественно, пустили не в эту избушку, где существовать зимой было бы невозможно, а в одну из комнат балакиревского дома). Все окрестные участки, как и этот, величиной в гектар, — принадлежали коллегам Балакирева, высшим руководителям того же министерства, и были подарены им Сталиным за выполнение какого-то важного правительственного задания. Расположен этот дачный поселок был в запретной зоне, защищающей «Водоканал» — источник московского водопровода. Тут по санитарным условиям не имел права строиться никто, но привилегии в сталинском государстве были сильнее прочих соображений. Впрочем, никакой особой

* Поселок по левую сторону от Ярославской железной дороги (если ехать от Москвы), в то время как Тарасовка — по правую.

беды в том, что эти люди (аки аз многогрешный) там жили, я не видел и не вижу. Да и сами привилегированные, с некоторыми из которых я потом познакомился, а с одним и сдружился, не внушали мне ни малейшей антипатии — талантливые, энергичные и совсем не глупые люди. Такими они мне и запомнились. Конечно, все они были люди системы. Но какая активность могла тогда проявляться вне ее?

Однако все это открылось мне потом. А пока для меня было важно, что у меня вообще есть где жить и куда приехать жене — квартира. Пусть квартира эта была и не ближний свет — в молодости это вполне преодолимо. Прописал меня Г.Б.Федоров на их семейной даче в Кратове.

Решился и вопрос с заработками. Однажды на Тверской я встретил Гарика (Гарольда) Регистана, с которым был хорошо знаком по институту, а до него — по всяким литобъединениям. Он отнесся ко мне по-товарищески — расспросил о моих делах, положении и предложил зайти к нему на работу — он заведовал редакцией поэзии народов СССР в «Советском писателе».

— Зайди (он назначил дату и время), я тебе дам подстрочники* очень хорошего поэта. Заключим договор, получишь деньги... В общем, заходи, жду.

И я зашел. Я ему до сих пор благодарен и за участие, и за этого поэта. Ибо подстрочники эти оказались подстрочниками Кайсына Кулиева, настоящего поэта и с тех пор (я вскоре с ним познакомился) моего друга. Дружба наша не прерывалась никогда и отнюдь не исчерпывалась деловыми интересами. Дружили мы и когда я его переводил, и когда не переводил. Продолжалась она до самой моей эмиграции, пока мы могли общаться. Но и в эмиграции, на расстоянии, когда общение было невозможно, я не переставал ощущать его своим другом. В этом смысле наша дружба продолжалась до самой его смерти.

* Подстрочник — буквальный, строка за строкой, перевод в прозе стихотворения, полуфабрикат, приготовленный для перевода стихотворного — желательно поэтического... Последнее случилось, если оригинал давал для этого основания, что случилось нечасто, и если переводчик был в состоянии это передать, что случалось чаще. Конечно, лучше знать язык и переводить с подлинника, но обеспечить без подстрочников демонстрацию расцвета культуры народов всех СССР — а именно на это расходовались средства, — было невозможно... Но если тексты были хорошими, то чуткий переводчик мог их извлечь и из подстрочника.

Но Кайсын и моя дружба с ним — дела чуть более позднего времени, и я об этом еще буду говорить. А пока я упомянул о нем только в связи с рассказом о своем трудоустройстве — был тогда такой термин. Кстати, и в этом, чисто практическом смысле, мне тогда сильно повезло, что началось это «трудоустройство» с Кайсына — Гарик знал, что делал, выбрав для меня стихи именно этого тогда еще не известного мне поэта. Подчеркиваю, не известного мне, а не вообще... Ибо, как я потом узнал, до войны (точнее, до высылки его в Среднюю Азию вместе со всем балкарским народом) он был многим в Москве хорошо известен, достаточно сказать, что он дружил с Дмитрием Кедриним. То, что я оказался переводчиком такого поэта, кроме всего прочего, обращало на меня внимание заинтересованных кругов, делало мне имя как переводчику и, следовательно, открывало мне дорогу к другим заработкам. Я этого тогда и не подозревал, думал только о локальном заработке (и о том, как бы мне не оскандалиться и отработать аванс), но Гарик был человеком опытным и понимал, что делает для меня. Спасибо ему...

Но поскольку здесь уже затронута тема переводов, не могу не сказать несколько слов об этом уголке тогдашней литературной действительности. Казалось бы, о чем тут говорить — переводы они и есть переводы: в России всегда много переводили — был на это спрос. И даже то, что некоторые известные поэты, например Пастернак, когда их не печатали, «уходили в переводы» — тоже понятно. Даже иностранным русистам. Правда, тут может возникнуть вопрос: что значит «не печатали»? Но не возникает. Ответ на него тоже кажется само собой разумеющимся: цензура. Между тем это не совсем так.

Цензура — это ограничение хоть в какой-то мере свободной прессы. А когда все издательства и органы печати, все средства массовой информации в стране не только подчинены, а и просто принадлежат идеологическому государству, «правильное» угадывание воли которого они обязаны были не только считать, но и объявлять своей главной и почетной задачей. В этой обстановке достаточно было не только публичного выражения немилости (называлось: «подвергнуться критике»), но и просто негласного сигнала, чтобы двери всех редакций закрылись перед неугодным

автором, что бы и о чем бы он ни писал — при чем же тут цензура? И зачем она нужна?

Пастернак и при Сталине иногда имел чуть ли не официальный статус непечатного писателя. Исходя из него, он даже, как я слышал, вступал в переписку с вождем — как раз о предоставлении ему в связи с этой «непечатностью» достаточного количества переводов. Нет, это уже не цензура, это тоталитаризм. Правда, с примесью азиатчины.

Но и принятие этого тезиса еще не гарантирует понимания того, что я имею в виду под переводами... Да, Пастернак бывал вытеснен в переводы, но то, что он переводил: первоклассные грузинские поэты, Гете или Шекспир — в любом случае рассчитано было на читателя и подлежало переводу — было *работой*. И было бы ею в любой стране и в любом обществе. То, что я имею в виду, соответствовало этому далеко не всегда — хотя и не всегда не соответствовало. Это был целый фронт работ, вызванный перманентной государственной постановкой, именовавшейся «расцвет национальных литератур в СССР». Сводилась она к тому, что московские и ленинградские, а также республиканские издательства обязаны были выпускать определенное (и немалое) количество книг национальных авторов в переводах на русский. Чаще (но не всегда) их авторы занимали должности в местной и центральной писательской иерархии. Книги эти часто (но опять-таки не всегда) были бездарны и бессмысленны. Впрочем, и среди литераторов, писавших по-русски, таких тогда хватало — их назначением (от коего, конечно, не освобождались и «националы») было продемонстрировать, что «сердца всего народа бьются вместе с партией»... И те и другие были бонзы. И если я сейчас говорю о бонзах только национальных, то лишь потому, что речь идет о переводах. Вокруг этой постановки расцвела целая «стихопромышленность», как говаривала мой друг В.Г.Дмитриева, много лет заведовавшая отделом поэзии народов СССР в журнале «Дружба народов». И действительно, вокруг этого дела кормилось много народу. Поэты вроде меня, которых не печатали и которые таким образом зарабатывали на жизнь и на возможность продолжать свое творчество (или того, что они принимали за таковое — кто как); поэты публиковавшиеся, но прирабатывавшие переводами — публикациями и книгами прокормиться могли

не все; профессиональные переводчики (иногда талантливые, как Н.Гребнев); и, наконец, просто литературно грамотные люди, избравшие себе такой способ существования. В принципе на этом можно было даже разбогатеть — если быть озабоченным только этим. Даром что большинство этих книг были фикцией и не находили спроса — похоже, государство этой постановкой развлекало (или утешало) только самое себя, но средств на это оно не жалело.

Надо ли специально оговаривать, что отнюдь не все поэты из республик были бонзами, то есть фикциями, как не были ими все писавшие по-русски. Это само собой разумеется. Существовал же и приобрел (в русских переводах) всесоюзное читательское признание мой товарищ, сокурсник и сосед по общежитию Расул Гамзатов, да и моя карьера переводчика, как уже известно читателю, началась не с фикции, а с настоящего и очень хорошего поэта Кайсына Кулиева. Случилось мне переводить и замечательного молдавского поэта Ливиу Дамьяна, к сожалению, рано ушедшего из жизни, и некоторых других.

Существует легенда, что всех прозвучавших хорошо по-русски национальных поэтов создали переводчики. В это особенно горячо верили непрозвучавшие коллеги из их республик. В Нальчике мне это пытались внушить насчет Кайсына:

— Ты, Эма, не знаешь, всё за него делают переводчики, а на языке ничего особенного.

Получалось, что я — а я был одним из главных его переводчиков — сам не знаю, что сочинил, а не перевел его стихи. На это я отвечал, что его стихи были хороши и в подстрочниках, то есть до того, как я к ним прикоснулся. Так оно и было. Кстати, мне когда-то читал свои подстрочники и Расул — они тоже не нуждались в «улучшении». Да и возможно ли такое «улучшение» вообще? Я, как и другие, переводил не только тех, кто приобрел такую известность, и могу об этом судить... Я убежден, что ухудшить хорошего поэта переводчик при неудаче может, но превратить плохого поэта в хорошего он не в состоянии. Разве что напечатать под его именем свои стихи, если они у него есть. Но о таких нелепых самопожертвованиях я даже не слышал. «Улучшить» в переводе он (в данном случае уже не переводчик, а обработчик) может только очень беспомощных авторов, доведя их стихи до среднебезличного, «прилично-

го» уровня, придав их стихам подобие осмысленности и стройности. К сожалению, с такими стихами мне приходилось иметь дело гораздо чаще, чем с другими — хороших поэтов на то, чтобы обеспечить свою жизнь стольким переводчикам не хватало, а получить заказ на такие переводы стремились многие. Хотя заниматься «улучшением» плохих поэтов гораздо легче, чем точно переводить тех, кто этого стоит.

Эти затраты на декоративность — один из вывертов противоестественной системы. Однако у него была и обратная положительная сторона. Настоящие поэты из нацреспублик через русский язык и систему госиздательств получали выход к всесоюзному, а то и к мировому читателю. Теперь декорации никто оплачивать не будет, о чем я, видит Бог, несколько не жалею, никто не будет оплачивать переводы плохих, никому не нужных стихов, и это естественно. Но переводы и издание хороших поэтов тоже теперь оплачивать некому. А дело это живое и важное для развития нашей общей культуры (а может, и жизни). Я не тоскую о щедрости госиздательств, но я надеюсь, что когда жизнь в России более или менее наладится, этим займутся частные издательства — не стоит с водой выплескивать ребенка.

Далеко меня, однако, завлекла эта побочная тема. Литераторы старших поколений могут удивиться — дескать, зачем об этом говорить, когда все это знают. Но это аберрация — теперь уже не все. Можно понять логику тирании, но логику утвердившейся и вошедшей в быт патологической нелепости понять невозможно. К ней можно только привыкнуть, принять как факт. Но теперь в жизнь вошли поколения, которым к этому привыкать не пришлось. И понять им это трудно. И таких людей — жизнь не стоит на месте — с каждым днем становится и будет становиться все больше. Им — тем из них, кого заинтересует прошлое — и понадобится это разъяснение.

И, кроме того, рассказывая о том, как мне в моем трудном положении открылась возможность заработков, я не смог умолчать и о проблемах, связанных с этим родом деятельности. Ведь я был с ним связан до самой эмиграции, до 1973 года, и все, что я за эти неполных двадцать лет сделал и смог сделать, в значительной мере благодаря существованию этого промысла. Это был единственный выход из

патологической ситуации, он был тоже патологическим, но другие в этой ситуации вряд ли возможны... Ведь по существу, почти все, чем я жил, что думал и чувствовал, и в эти годы оставалось нелегальным. Периоды, когда мне удавалось жить на гонорары за свое собственное творчество, были в моей жизни исключением, а не правилом.

Так или иначе, жизнь моя постепенно входила в русло. На правах студента я стал опять посещать поэтический семинар в Литинституте. И опять это был семинар Светлова. То ли он уцелел во всех бурях антикосмополитской кампании и «дела врачей», то ли был восстановлен в должности после них, но, как говорится, был на месте... Семинар его был для очников, но его участниками могли быть и заочники-москвичи. Поскольку я теперь снова стал москвичом, я этой возможностью воспользовался. На первом семинаре, на котором я присутствовал, читал свои стихи, вернее, сделанные им же подстрочники молодой чувашский поэт Геннадий Лисин, тогда еще не признанный французами (с подачи поляков) модернист Геннадий Айги. Мне очень жаль, что с ним произошла такая метаморфоза — по всем своим данным он вполне мог быть «признан родной страной». Его стихи мне давно не попадались, но несколько лет назад даже в его непроходимых общеевропейских верлибрах попадались одиночные пронзительные строки. А для поэта (в отличие от философа или отчасти прозаика) признание родной страны, на мой взгляд, должно значить гораздо больше, чем признание «всего мира», то есть иностранных специалистов... Но тогда этого «просветления» с Лисиным еще не произошло, и мы быстро подружились — с ним и его другом Римом Ахметовым. Рим был не поэтом, а прозаиком или переходил на прозу — его произведений я не читал, но чувствовал, что он талантлив. Явно был умен, обладал некоторым жизненным опытом, здравым смыслом и чувством меры, умением понимать людей и легко вникать в весьма сложные культурные материи. Короче, он был мне очень симпатичен,

Были и комические эпизоды. Однажды Гена простудился, и кто-то сказал ему и Риму, что ему надо поставить горчичники. Совет был принят... Друзья пошли в аптеку, купили горчичники, пришли в общежитие — оно тогда помещалось в Переделкине — и приступили к делу... Гена

разделся, лег, и Рим, предварительно, как ему сказали, намочив горчичники, наклеил их на голую Генкину спину. Потом согласно тем же указаниям он накрыл друга одеялом и счел свою задачу выполненной. Поначалу все шло гладко. Гена спокойно лежал, Рим сидел рядом, и оба беседовали. Естественно, постепенно начало припекать. Но это входило в условие задачи, друзья были об этом предупреждены, и Гена, пока хватало сил, терпел. Однако примерно через час сил стало не хватать, и Гена заметался. Но Рим, верный буквальному смыслу полученных им инструкций, все Генкины попытки освободиться от горчичников решительно пресекал. Видимо, тот, кто посоветовал друзьям прибегнуть к горчичникам, забыл им сказать, что со временем это целительное средство надо все же снять, — что это составная часть понятия «поставить горчичники». Но Рим, чей жизненный опыт ухода за больными никакого либерализма не допускал, только повторял:

— Терпи, Гена! Завтра здоровым будешь.

Кончилось тем, что Генка стал орать благим матом, на крик прибежали товарищи, и кто-то, вероятно, девушка, вразумил приятелей. Генкина спина все же была спасена.

Смешной, ничего не значащий эпизод. Ничего за ним нет, кроме молодости, которая прошла, и людей, с которыми она была связана. Эта дружба, в отличие от многих других, к сожалению, не сохранилась. Насчет Гены понятно. Я вспоминаю о нем с теплотой и горечью, но почему мы с ним вскоре разошлись, объяснять не надо, уже объяснено. И все-таки я иногда о нем слышал, да и мелькал он иногда на страницах тех или иных изданий. Но почему и куда вдруг исчез из моей жизни (и из жизни всех общих знакомых — я справлялся) Рим, ума не приложу. Затерялся ли он где-то в родной Башкирии (он башкир по национальности) или в каком-либо другом месте — не знаю и, боюсь, никогда не узнаю. Но в памяти моей он остался — высокий, красивый, уверенный в себе и мягкий. Да, братья-писатели... Действительно, в нашей судьбе лежит что-то роковое... Однако я опять отвлекся. Ведь рассказывать я это начал, упомянув о том, что опять стал посещать семинар. Надо бы продолжать. Впрочем, о самом семинаре мне особенно рассказывать нечего... Да и помню мало — ведь не внове мне было. Помню внезапное сообщение Светлова — в его манере:

— Знаете, дети, мне Литфонд дачу выделил. Для меня это хорошо, но им самим это тоже нужно. Даже больше, чем мне — для статистики. Отметят, что за несколько лет хоть одному порядочному человеку дали дачу.

Есть у меня впечатление более значащее — обсуждение моей поэмы (я ее считал романом в стихах) «Начальник творчества». Эта поэма значится в протоколах многих обысков, но мое сегодняшнее отношение к ней достаточно сложное. Я никогда и нигде — ни в России, ни в эмиграции — не отказывался от нее, но в то же время ни разу нигде не предпринял попытки ее опубликовать... Конечно, если бы эта поэма могла быть напечатана вскоре после написания, я бы с удовольствием ее опубликовал и в этом случае, возможно, продолжал бы ее публиковать до сих пор... Вложено в нее было очень много — пережитого, мысли, боли, труда, надежд — и многое в ней мне дорого и нравится по сей день. Но впервые возможность опубликовать ее представилась мне более чем через двадцать лет после ее написания, уже в эмиграции, и я почувствовал, что представлять в таком виде перед не знающим меня эмигрантским читателем (я имею в виду не только и не столько старых эмигрантов, сколько мгновенно и потому радикально прозревших наших) — не стоит. Да и смотрела она на мир глазами человека, страдающего от подмены коммунизма, а сам я уже давно, больше пятнадцати лет, смотрел на мир другими глазами.

Не устраивает меня сегодня эта поэма и эстетически. Ее содержание — генезис, путь и психология сталинского выдвигенца, и не устраивает меня то, что в ней на всем протяжении идет речь о герое, которому автор не только несколько и ни в чем не сочувствует, но открыто ненавидит и презирает. Между тем я давно убежден, что поэзия этого не терпит. Если, конечно, она не сатирическая, а поэма при всей саркастичности к этому жанру не относится. Да и невозможно гнать сатиру и сарказм через полторы тысячи строк.

Об этой поэме мне хочется — и стоит говорить особо, но сейчас речь идет не о ней. Я и коснулся ее здесь не для разговора о ней, то есть не с тем чтобы ее осудить или защитить (да и отношусь к ней в целом хорошо), а потому, что при ее обсуждении проявилось тогдашнее состояние

молодых умов. В поэме есть кусок о Сталине, а в нем такое четверостишие:

Ведь это, милый мой, не малость
Позволить, умно хмурая бровь,
Страну, что долго вырывалась
Из рабства —

в рабство ввергнуть вновь...

Оно и вызвало наибольшие нарекания. Нет, не из патриотического гнева. Я никогда не был любителем рассуждать о «природном русском рабстве» и так не воспринимался. Нет ничего такого и в этих строках. В том, что Россия долго вырывалась из пут крепостного права, нет для русского народа ничего оскорбительного. А то, что я согласно не только большевистской, но и просто интеллигентской традиции осудил и самодержавие в целом, не могло оскорбить моих слушателей — для них, как и для меня, это было тогда еще «простой истиной». Да и вообще публика вокруг была в основном либеральной, не склонной и потом к обвинениям в непатриотизме. Не говоря уже о том, что такой настороженности на этот счет, какая появилась у многих потом, тогда ни у кого не было.

А задели моих слушателей мое отношение не к давнему прошлому, а к недавнему, бывшему при них, то есть настоящему. Тогда, почти за год до Двадцатого съезда, конечно, все они понимали, что далеко не все у нас было в порядке, что нужны перемены, знали, что очень много людей было расстреляно и мучилось в лагерях ни за что, но при этом называть свое существование рабством не хотелось. Такое определение задевало, коробило. Ведь все они в это время как-то жили, учились, читали книги, влюблялись, очаровывались, разочаровывались — неужто это было рабство? Не может быть! Впрочем, пагуба сталинщины многими не осознана до сих пор. Хоть это опасно — без этого осознания России не выжить. Правда, тогда это выглядело гораздо наивней и невинней — как выглядят проходящие в себя после сна или после удара дубиной по голове.

Но в институте я общался не только с членами нашего семинара. В общежитии, но не в подвале, а во дворе, слева жили девушки. Среди них мои землячки — моя старая знакомая, приятельница Ритика, вскоре известная украинская

поэтесса Лина Костенко и ее подруга, с которой я тогда только познакомился — Юнна Мориц. Заходил я к ним довольно часто — всегда, когда бывал в институте и поблизости — просто потрепаться. Познакомился и подружился я и с другом Лины, польским писателем и тоже нашим студентом Ежи Пахлевским, а через него и с польским поэтом Виктором (Витэком Ворошильским) и его женой Янкой.

Знакомство это было для меня интересным и важным. До сих пор я встречал иностранцев — в основном тоже поляков — только на этапах, пересылках и в Чумакове (на Лубянке, так уж получилось, мне встречались только русские эмигранты, — разве что кроме глухого Гаспаряна и малограмотного Филиппо). Но были они все только жертвами тоталитарной власти и относились к ней соответственно — как минимум отчужденно. Не могу сказать, что общение с ними прошло для меня бесследно, я уже давно не считал зазорным сочувствовать боли и страданиям пострадавших от «исторически прогрессивной» власти и давно не относился презрительно к тем, кто ей не прощал ее обхождения с ними. Более того, теперь я считал их судьбы веским аргументом против нее. Но все равно оставался «левым», поклонником того, что подмял под себя и подменил Сталин. Мое сегодняшнее отношение к проблеме почти такое же — подменил. Изменилось только мое отношение к этому подмененному — теперь (давно, минимум с 1958-го, но, скорее, с 1957 года) я это считаю изначально преступным и ответственным за все, что было после, в том числе и за Сталина... Но пока на дворе еще начало 1955-го, и эти иностранцы, примкнувшие к СССР из революционности и столкнувшиеся с властью сталинских выдвиженцев, психологически и духовно были мне ближе. И в них даже эта приверженность к коммунизму звучала более чисто, по-человечески, не лишена была духовного наполнения. Надо ли говорить, что потом и эти поляки от коммунизма отказались. В них, как и во мне, это подспудно нарастало.

Напоминаю: я давно отрицаю не только страшную практику «подлинного» (досталинского) коммунизма, но и всю его духовно-культурную и интеллектуальную ауру. Сознаю всю ее греховность. Но такая аура имела место и обволаки-

вала сознание многих, и часто отнюдь не худших, людей во всем мире, и мы — и я, и многие вокруг меня, и литинститутские иностранцы — не были исключением.

Однажды во дворе института ко мне подошел человек лет сорока, с интеллигентным лицом, в очках, тоже студент нашего института, и сказал, что он член ЦК Испанской компартии, что он только что вернулся из командировки и очень хочет со мной поговорить. Я тоже очень хотел, и мы немножко о чем-то поговорили. Разговор был мне очень интересен, а человек — очень мне приятен! К сожалению, я больше никогда его не видел.

«Le communisme est la maladie de la pensée» («Коммунизм — болезнь мысли»), — сказал один французский издатель моей знакомой. Я бы сказал — болезнь духа. И болезнь эта имела отнюдь не локальный характер и поражала иногда людей духовных...

Но мы сейчас говорим о тогдашнем СССР. Тогда этот «честный» коммунизм в интеллигентском сознании был еще далек от развенчания. Даже в народе. В них видели людей, которые, в отличие от «нынешних», способны заботиться не только и даже не в первую очередь о самих себе. В каком-то смысле это было правдой, подтверждалось жизненным опытом. В годы сталинщины редкие уцелевшие представители этого репрессированного слоя отличались от основной массы начальников (сталинских выдвинутцев) в положительную сторону... Отчасти потому, что, пережив тридцать седьмой год (потерю оклеветанных товарищей, подмену их собственной истории, а следовательно, и биографии), почувствовав самих себя незащищенными, они стали мягче к людям, отчасти потому, что в них все-таки жила память о том, что служить надо делу, а не лицам. Другое дело, что в пропасть, на краю которой и они сами теперь оказались, они же — и как раз порядке страстного служения этому «делу» — сами и втащили когда-то всю страну. Но об их «заслугах» я писал достаточно, взглядов своих на их роль в истории России не изменил и сейчас не панегирик им пишу... Просто констатирую, что психологически и по общему облику они все же отличались от «начальников нового духа» (Я.Смеяков). Даже в литературе последних сталинских лет это отражалось (например, «Счастье» того же П.Павленко). В них сознательно и бессознательно искали и

находили доказательство наличия в «нашей жизни» традиции и верности ей, единственно известной, понятной — именно потому, что смутно ощущали отсутствие в «нашей жизни» всякой традиции. Так что нет ничего удивительного, что многие и многие тогда, после развала сталинщины, ждали не чего-нибудь иного, а восстановления подлинного большевизма — со всеми причиндалами, включая верность мировой революции (без чего, как не раз тут говорилось, большевизм — фикция). Я отнюдь этим не горжусь, но так было. И так была перевернута вверх ногами вся наша жизнь, что именно те, кто честно тогда как бы хранил верность этому разрушительному мировоззрению, как раз и были защитниками свободы, культуры, порядочности и не раз обруганной Лениным демократии, открывшегося всем в связи с войной патриотизма, который, орудуя им как дубинкой, использовала для защиты своей бездарности противная сторона — Софронов, Грибачев и вообще герои антикосмополитской кампании...

В поэзии все «либералы» были поклонниками Маяковского, а их противники всячески стремились умалить его значение. Совсем отменить «лучшего и талантливое» они не смели, а теперь и не могли — в этот сан Маяковского возвел Сталин, а посягать на его и без того угасающий авторитет им было явно не с руки и не по сердцу. Но проявляли находчивость — объявляли его великим советским поэтом, но при этом отмечали, что он именно поэтом уникален и его творчество лежит вне основного русла национальной поэзии. При других обстоятельствах это могло бы рассматриваться как серьезная точка зрения, как стремление вернуться к истокам культуры — сейчас я и сам во многом так думаю, но в нашей перевернутой жизни все было наоборот. Болезни культуры и Духа (включая «подлинный коммунизм») раздражали большинство из них не тем, что это болезни, а тем, что вообще относились к культуре и Духу — к чему-то непонятному и недоступному. Так что и ничего, кроме права на подаренное Сталиным господство тусклости и бездарности, они не защищали*.

* Напоминаю: среди героев антикосмополитизма не было тогда ни одного писателя не только масштаба Василия Белова, но и вообще заслуживающего внимания имени. Тем не менее с занятых ими руководящих высот они уже никогда не спускались. Партия сражалась за этих «автоматчиков», как их назвал Н.С.Хрущев, до самой перестройки.

Либералы вступались за новаторство — оно соответствовало общей их довоенной эстетической ориентации и вообще революционной настроенности, в которой они были воспитаны (которая, повторяю, причудливо ассоциировалась в их сознании с культурой — впрочем, Луначарский и Бухарин и впрямь были несравненно культурнее Фурцевой и Хрущева). Кроме того, это больше приближалось к требованию свободы творчества, а подспудно и просто свободы, в чем все они при любых интеллектуальных построениях нуждались... Такова была тогдашняя культурная жизнь — не только «дракой собак под ковром», как определил потом политическую жизнь СССР Черчилль, а еще и дракой изнасилованных подсознаний. Все это было последствием непрерывно проводившегося Сталиным разрушения семантики — подмены смысла слов и понятий.

В этом смысле интересен эпизод с полемикой вокруг поэта Георгия Горностаева. Примерно в этот период в газетах и журналах стали появляться стихи и поэмы, подписанные этим именем. На мой капризный взгляд, они ничем не отличались от всего, что тогда печаталось, полностью соответствовали стандартам соцреализма — «рабочей теме», бесконфликтности или высшему шику теоретической мысли времен поздней сталинщины — «борьбе хорошего с отличным». Короче, стихи были ничем не примечательны, но были написаны под Маяковского — «лесенкой». Собственно, причиной начавшейся вокруг этого автора борьбы и была только эта лесенка. Прогрессисты (особенно относившийся к ним тогда Кирсанов) возносили его до небес, реакционеры низвергали. Мечи сверкали, страсти кипели, а смысл если и возникал, то только подколодный. Это была в чистом виде имитация интеллектуальной жизни, а еще — сублимация духовной энергии в обстановке, когда и то, и другое подавлено.

Сегодня я никого за это не сужу — противостоять неограниченной власти тотальной бессмыслицы, нащупать при этом здравый смысл и ему доверять — очень трудно. Особенно трудно тому, кто сам с детства рос в этой атмосфере, а такими были почти все. Кто сумел это сделать — тому честь и слава, а кто устоять не смог — не будем судить. Многие и перед диктатом принятого в их кругу устоять не могут, а тут — давление тотальное! Слаб человек! Плохо

только, когда эта слабость выдается за интеллектуальное или духовное достижение, которому и перечить не смей. Вспоминается четверостишие Николая Глазкова:

С отвагой безошибочно труса
Он распинал Иисуса на кресте,
Чтобы потом во имя Иисуса
Сжигать Джордано Бруно на костре.

Это четверостишие, на мой взгляд, блистательно, но к тому, что я хочу сказать, имеет отношение только определение из первой его строки — «безошибочная отвага труса». Никто не бывает так агрессивно уверен в ложной идее, как тот, кто уступил ей под напором власти. Все равно какой — политической или общественного мнения узких кругов... Вот только к таким людям и их агрессивности я отношусь не очень хорошо, но и эта агрессивность — самозащита в экстремальные времена — и это, вероятно, простительно, но экстремальные (для СССР — для других непредставимые) времена кончались.

Несмотря на то что, как я уже отмечал, «автоматчики» оставались существенным фактором культурной жизни, какие-то необратимые процессы в ней шли. И все чаще друзья и знакомые стали поговаривать о том, что пора уже и мне начать публиковаться. Я мало на это реагировал, но однажды речь об этом зашла при Евгении Винокурове, который тогда заведовал отделом поэзии в журнале «Октябрь». Журнал этот тогда отнюдь еще не был кочетовским*, а отдел поэзии в нем — благодаря тому же Винокурову — был лучшим в стране... Винокуров был моим старым товарищем, между нами всегда существовало, если можно так выразиться, «творческое взаимопонимание», и, естественно, он выразил полную готовность меня напечатать, то есть попытаться это сделать. Мы договорились о дне и часе, и я пришел к нему в редакцию «Октября», занимавшую несколько комнат на одном из этажей главного здания ком-

* Теперь это определение, наверное, требует комментария. Одиозность этот журнал приобрел при Хрущеве под редакторством В.О.Кочетова, когда он один открыто защищал осужденные «партией», но милые сердцу многих ее функционеров идеалы сталинщины. Не шибко талантливые произведения самого Кочетова несправедливо номенклатурой забыты, они незаменимое пособие для изучения советского строя. Его романы «Братья Ершовы» и «Секретарь обкома» — самовыражение номенклатуры.

бината «Правды». Перед этим мне пришлось отобрать более или менее годные для публикации или, как тогда говорили, «проходные» стихи — то есть стихи, способные «пройти» через все редакционные и цензурные заслоны. Конечно, заслоны тогда зашатались, но они отнюдь не исчезли, и в успех этого предприятия я не верил: потому и мало реагировал, когда друзья заговаривали о том, что мне пора публиковаться... Ведь я привык относиться к любому пропущенному в печать стихотворению как нуждающемуся в оправдании. Это не значит, что таких стихов не было — были, и я здесь не раз о них говорил. Но в целом относился именно так. Настолько, что и в тот момент переход в иное, печатное состояние мне (в подсознании, разумеется) казался не только невыносимым, но и не нужным. Я отнюдь не горжусь, как это стало модно, своей якобы непрактичностью. Это была не романтическая непрактичность, а застарелая болезнь, застывшая инерция.

В основе этой инерции было и то, что я мог наткнуться и на представителя другой фикции — литературной литературы, противостояние которой было тоже существенной стороной моей жизни (об этом речь не здесь и не сейчас, но тусовка существовала задолго до перестройки). Не хотелось выслушивать чей-то состоящий из ряда высокоумных пошлостей отказ, что в юности со мной случалось неоднократно. Бессмысленная диктатура и литературная (значит, тоже бессмысленная) литература — вот те Сцилла и Харибда, между которыми я всю жизнь вынужден был прокладывать путь. Но это разговор о природе этой моей «привычки не печататься», на формирование которой наряду с главным, государственным фактором воздействовал и фактор эстетический. В меньшей, конечно, мере, но воздействовал... Впрочем, несмотря на эту свою «привычку», я вполне сознавал необходимость действовать. И, как видите, действовал — все-таки собрал стихи и принес их Винокурову. Правда, о нем я точно знал, что он к этой литературной литературе никакого отношения не имеет — без этого мне трудней было бы преодолеть инерцию этой привычки, и подвиг собирания стихов все-таки вряд ли бы состоялся...

Этой привычкой я отнюдь не горжусь. Если бы не она, я выпустил бы свою первую книгу на несколько лет раньше, а к концу «оттепели» успел бы, наверное, выпустить и вто-

рую. А это было бы естественней, разумней и полезней для дела, чем такая «поэтическая непрактичность». Конечно, тут меня могут обвинить в нескромности. И действительно, это мое рассуждение верно только при условии признания за моим творчеством хотя бы некоторой ценности. Но требовать от автора, который столько лет отстаивал свое творчество от разнообразных посяганий, чтоб он скромно допускал отсутствие за всем, что он отстаивал, всякой ценности, мягко говоря, неправомерно. Если бы я был настолько скромн, я бы давно «закрыл фирму»... Но «фирму» я к тому времени не закрыл, писать не перестал и не собирался этого делать, а, наоборот, явился в «Октябрь» к Винокурову со стихами. К этому теперь и подошло мое повествование.

В связи с этим я считаю необходимым сказать несколько слов о самом Евгении Винокурове. Жене Винокурове, кем он всю жизнь для меня был. Я не знаю, как он сейчас «котируется» у нынешнего читателя — опустошающая активность тусовки смешала все карты*, но ведь не навсегда — но знаю, что он, безусловно, был настоящим поэтом. А также умным, образованным и порядочным человеком. Как поэт он был вполне признан и читателем, и коллегами. Только однажды Станислав Куняев предпринял попытку его ниспровергнуть, но его статья обошла своим вниманием все лучшие, на мой взгляд, стихи Винокурова. Как раз те, которые он писал в описываемый период. Они потом вошли в два, по-моему, лучших его сборника — «Синева» и «Лицо человеческое». Предыдущая его книга «Скатка» тоже обратила на себя внимание критики (открывала поэзию солдатских будней). Стихи, вошедшие в нее, написаны строго, точно. Нигде и ничто в них не изменяет вкусу (не зря же именно я когда-то после первого разговора с ним пошел хлопотать за него перед В.С.Сидориным, просил в начале семестра принять его в институт). Но эта книга не была мне особенно близка, многое в ней показалось мне слишком приземленным. Те стихи, которые он мне читал после моего возвращения, разительно отличались от тех, которые я знал. Потом, после тех двух книг, которые я назвал, его

* Тусовка стремилась опорочить все, что было до нее, чтоб заменить это все собой! Но, не имея за душой ничего, заменила все пустотой и просто оттеснила ошалевшего читателя от чтения.

стихи (конечно, не все) стали приобретать излишнюю философичность, стали холодней — в это и вцепился Куняев. Но поэтов ценят по лучшим стихам.

Бедой Винокурова были как раз ум, образованность и порядочность. Он был уже тогда знаком с предреволюционной философской литературой («Вехами», Бердяевым и пр.), и его несоответствие строю было гораздо глубже, чем мое, — оно никак не определялось противопоставлением ленинцев сталинцам. И никакого пафоса гражданственности у него не было — он был, скорее, эстетом и мыслителем, но его эстетизм и мысль никак не монтировались с существующим строем. Существующий строй про это не знал, но сам-то Женя знал прекрасно! В каком-то смысле ему не повезло с тем, что его «признали» еще при Сталине, стали публиковать, напечатали книгу (тогда и много лет спустя это много значило), хвалили в периодике. И... со страху Женя подался в члены КПСС, чтобы, как он мне рассказывал, избежать неминуемого, по его мнению, вопроса: «А чего это Винокуров при таких успехах в партию не подает?» Вопрос этот, я уверен, да еще в такой форме, никому бы в голову не пришел. Конечно, могли, ссылаясь на эти успехи, предложить ему эту честь, но выслушали бы спокойно и без последствий благопристойный отказ вроде: «Не чувствую пока себя достойным». Вероятно, считалось, что такое заявление говорит только о желании избежать лишних обязанностей. Так же бы отнеслись и к Винокурову. Но ведь сам-то он про себя знал, что он такое, делал все, чтоб это не обнаружилось... Такие были времена...

А о том, какие были времена, Винокуров был осведомлен хорошо. Помню его реакции на «подписанство» — подписи писателей под протестными письмами. Сам он что-либо подписывать отказывался наотрез:

— Ты что! Да ты не понимаешь наше положение? Думаешь, что мы спорим с ними? Или боремся? Ничего такого нет. Мы у них в плену!

Говорить о властях «они» в интеллигентских кругах вошло в традицию, но в устах Винокурова она обретала дополнительный, расширенный, почти мистический смысл — впрочем, после «борьбы с космополитизмом» и занятия ее героями командных постов в руководстве культурой — вполне понятный и наглядный, — отнюдь не только антисемит-

ский... Дикая, темная, враждебная культуре, ненавистная, но всеподавляющая сила, внушающая ужас. «Мы у них в плену, — развивал он свою мысль. — А эти с подписями суются. Разве они понимают, что они делают? Все равно ведь задавят. И потом заставят гадости делать...»

Вот этого, что заставят гадости делать (то есть заниматься публичным самобичеванием, демонстрируя раскаяние), Женя Винокуров боялся больше всего.

Нет, он не был ни трусом, ни конформистом. Он не совершил ни одного дурного поступка. За ним нет ни одного предательства. Он просто избегал всякого рода демонстраций. Впрочем, одной он не избежал. Я имею в виду похороны Пастернака. Конечно, похороны не демонстрация, но власти к ней относились как к демонстрации. Тем более неприятной, что ее нельзя запретить или разогнать. И она смогла дать понять всем, кто от нее зависел, что их присутствие на этом «мероприятии» нежелательно. А сотрудникам «Литературной газеты» и, вероятно, других подобных учреждений оно было просто запрещено их начальством.

Но для меня по моей беспризорности таких проблем не существовало. Ехал я в Переделкино со своим другом, археологом А.Л.Монгайтом и А.М.Некричем в машине Монгайта. В машине находились еще и пренебрегший запрещением начальства (он был тогда сотрудником «Литературки») Булат Окуджава и его девушка. Оставив машину в указанном нам месте, мы пошли в сторону дачи Пастернака, и тут я увидел Женю. Он стоял и «жадно глядел на дорогу», ведущую к нужной и нам даче.

— Привет, Женя! — заорал я дурашливо, сразу поняв, что происходит. — В Доме творчества поселился? (Я прекрасно знал, что из Москвы он не выезжал.)

— Да, — в тон мне ответил Женя. — Воздухом вышел подышать. — А когда мы подошли ближе, встревоженно добавил: — Из секции никого нет (имелась в виду секция поэзии Союза писателей). Говорят, Межиров был, но я не видел (Межиров на похоронах был). А NN (я помню, кто это), когда ему позвонили, сказал, что занят, пишет. А я там, на даче, уже был. Там всех снимают.

Там, конечно, снимали, и не только западные корреспонденты. И из секции, кроме Межирова, действительно никого не было (нам с Булатом было проще — ни я, ни

даже он еще не были членами Союза), но Женя тем не менее снова вернулся на дачу, вместе с нами прошел мимо гроба и вообще присутствовал на похоронах до конца... В довершение всего, он был вместе со мной и Булатом сфотографирован корреспондентом «Пари матч» на заднем крыльце дачи, когда мы выходили оттуда после последнего прощания. Снимок в журнале появился. Я потом, чтоб попугать, соврал Женьке, что мы там все были названы. Он встревожился. Но я быстро его успокоил — корреспонденты тогда не знали не только имен наших с Женькой, но и Булата — мы, к счастью для Жени, были для них только деталью пейзажа.

Я тогда сказал Женьке, что уважаю его за то, что он там был, хоть и боялся. Он улыбнулся и возразил:

— Нет, я не боялся... Но — сознавал.

Думаю, что это правда. Он все, о чем только что шла речь, *сознавал*. *Сознавал* хорошо и всегда. Несколько отошел он от этого леденящего осознания только в начале «оттепели». И достиг своих вершин — отнюдь не в гражданском пафосе. Но когда опять запахло заморозками, он это опять стал сознавать и тоже стал холодеть. И это отразилось на стихах. Нет, у него не было стихов неискренних, сервильных и тому подобное, но дыхания в более поздних его стихах чувствовалось меньше, чем в двух оттепельных книгах. И дело не в том, что из-за заморозков теперь не могли бы найти выход в печать какие-то его затаенные гражданские страсти — не помню, чтоб у него были непечатные стихи. Конечно, его волновало все, что происходило со страной и людьми, но писать об этом прямо его и не тянуло. И темы, которые его волновали, ничуть не беспокоили номенклатурное руководство. Атмосфера заморозков противоречила не его возможностям печататься, а свободе духа. В ней для настоящего дыхания не хватало воздуха. Лучшим, хотя отнюдь не идеальным выходом из этого положения, на мой взгляд, было противостояние этой атмосфере. Это, так сказать, адреналину добавляло. Но за счет некой безмятежности, которая тоже необходима поэту.

Да и кто вообще сказал, что поэтам необходима бойцовская стойкость; готовность идти в тюрьму и на плаху? Иногда, как всем уважающим себя людям это приходится делать и им, но не в этом их профессиональная доблесть.

Поэту прежде всего необходимы иная сила и иное мужество... Умение быть самим собой. Умение чувствовать самого себя и поэзию, на ходу отделять в себе от своего же чувства то, что не относится к возникшему в нем замыслу, к поэзии. Ведь все это надо решать самому, и все это всегда на краю провала — как же тут без мужества? К сожалению, в наше время такое мужество должно было включать и мужество, обычно именуемое гражданским, — иначе нельзя было отстоять свое мироощущение, его стремились подмять и подменить. Так или иначе, но в этих условиях Винокуров был поэтом, и хорошим поэтом. И пришел я к нему свободно и просто, как к своему.

Так мы и разговаривали. Отобрали для первого появления двадцать восемь стихотворений. Цикл получался внушительный.

— Но, — сказал в заключение Винокуров, — так не пойдет. Нужен «паровоз».

Словечко это было мне уже знакомо. Может быть, даже я сам его выдумал, а может быть, не я один — оно само напрашивалось. Это было стихотворение, соответствующее стандартам «идейности» или «актуальности», то есть тому, чем стремилась заполнить умы граждан партия. Стихотворение это якобы доказывало участие автора в «жизни страны и народа» (нечто вроде причастия дьяволу)... Этот паровоз должен был как бы реабилитировать и протащить, как вагоны, остальные, более нейтральные стихи — о стихах прямо идеологически чуждых речи вообще еще не могло быть. На мое счастье, в этом 1955 году с большой помпой отмечалось пятидесятилетие революции 1905 года — пытались восстановить революционную легитимность своей власти. Революция тогда никак не противоречила моим взглядам. Никакого греха в ее воспевании я не видел, и я решил воспользоваться этим — пустить свой «паровоз» по этим путям. Женя это предложение одобрил, а может быть, оно даже от него исходило, а одобрил я — сейчас не помню. Так или иначе, так мы и решили. Я даже получил под это дело командировку в Ленинград — для ознакомления с местом событий. О поездке чуть позже, а «задание редакции» (точнее, ее условие) я выполнил — написал большое, из нескольких частей стихотворение «на тему». Повторяю: по-человечески в нем не было лжи, но не было ника-

кой для меня необходимости в его появлении — я его не стыжусь, но и не перепечатаваю его. Однако для «паровоза» они были совсем неплохи.

Результат этого предприятия был ошеломителен. Все двадцать восемь вагонов были отцеплены у семафора, а на станцию назначения пропустили только «паровоз». На транспорте — даже советском — это было невозможно, а в советской литературной жизни — запросто. Кроме того, именно в связи с этим эпизодом окончательно стабилизировался мой псевдоним. После космополитской эпопеи я хотел освободиться от всякого псевдонима. Однако мне это не удалось.

Произошло это по-советски артистично и как бы между прочим. После делового разговора в кабинете заместителя главного редактора Зубкова (не о том ли, что основную массу моих стихов придется отложить?) хозяин кабинета вдруг «вспомнил»:

— Да, Степан Петрович (Щипачев) сказал, что вы хотите взять псевдоним... Так какой именно?

Это была наглая ложь. Со Степаном Петровичем (он был членом редколлегии по поэзии) мы действительно не раз беседовали, но никогда о псевдониме. Степан Петрович был порядочным человеком и никогда бы не стал делать такие заявления за другого. Зубков это прекрасно знал и знал, что я это знаю. Мне оставалось только возразить, что я такого желания не выражал, из чего выходило, что соврал или Степан Петрович (чего я не думал), или сам Зубков, что соответствовало истине, но что означало идти на конфликт, и прощай, публикация. Оно, конечно, не такая публикация, чтобы расстраиваться (впрочем, по тогдашнему времени, может, и такая, но я так не воспринимал), но отчасти работал на другом уровне тот же комплекс, который раньше погнал меня в карагандинские редакции — желание доказать себе и другим, что я вполне могу соответствовать «кондиции», в том числе и столичной. Так или иначе, «врете!» я Зубкову не сказал. Однако нежелание прибегать к псевдониму выразил. И даже начал отбрыкиваться. Любопытен один из аргументов, приведенных в пользу псевдонима:

— Коржавина все знают, а Манделя — никто.

Все обстояло как раз наоборот. Псевдоним этот у меня был, но в печати он появлялся всего два раза — при объяв-

лении о моем выступлении в редакции «Московского большевика» и под стихотворной подписью, моей и Максима, к фотографии весеннего пейзажа в «Московском комсомольце». А среди тех, кому я был известен, даже если они знали о псевдониме, я был известен как Эмка Мандель. Но дело было не в весомости аргументов. Пришлось сдаться. Все это было безобразным насилием, но, честно говоря, о его результате я потом никогда не жалел. Псевдоним этот давно неотрывен от меня, стал составной частью моей личности, и это нисколько меня не тяготит.

Теперь о поездке в Ленинград. В этой поездке была своя трудность. В очередной раз у меня были проблемы с паспортом — то ли он был просрочен, то ли у меня не было прописки. Это ничем мне не грозило, но исключало для меня возможность остановиться в гостинице. У меня было несколько телефонов, но очень неточных. Так что я ехал опять в никуда — только что добровольно и не на всю жизнь. Я приехал утром, был увлечен городом, но все-таки мне было не по себе... Почти до конца дня, когда проблема как-то решилась. С большим трудом я разыскал сестру моей одноклассницы Раи Брянской Фаню, тоже знакомую мне с детства (сама Рая была в отъезде), и они с ее мужем Михаилом меня приютили. А на следующий день я наконец застал по телефону своего товарища по институту Диму Поляновского, и он свел меня с семьей Гликманов (искусствоведом из Эрмитажа Александром Гликманом, его женой, тоже искусствоведом, но из Русского музея, Кирой Корнилович и их тогда тринадцатилетней дочкой Машей). У них — это получилось само собой — я и «навсегда поселился», и уж точно навеки подружился. К сожалению, из всех, кого я только что назвал, в живых остались Рая и Маша, обе живут в Штатах, хотя и на значительном расстоянии от меня, и с обеими я до сих пор поддерживаю отношения. Остальных — а именно они меня тогда выручили — уже нет. А тогда они жили, и помощь их была ощутительна, даже живительна.

Но когда ясным светлым утром — дело было летом или ранней осенью — я вышел на площадь Московского вокзала (вещи — кажется, все ту же корзину — я оставил в камере хранения), я еще не знал, как все устроится, и это, как я уже сказал, меня тревожило... Но то, что разворачивалось

предо мной, настолько меня поразило, что временами заставляло забывать о своей ситуации...

Я ведь совсем не знал этого города. Просто, выйдя из вокзала и увидев перед собой какую-то нарядную улицу, пошел по ее правой стороне, не зная, куда иду и куда она ведет... Улица была очень прямой, но я знал, что Ленинград строился по плану, и улицы в нем и должны быть прямыми, так что прямизна этой улицы для меня никак не определяла ее суть. Требовалось название. А его как на грех нигде не было — только номера домов.

Недалеко от вокзала бросилась мне в глаза вывеска пельменной. Несмотря на ранний час, она была открыта. Решил позавтракать — делать все равно было нечего, зашел. Аккуратные стеклянные столики, светло, чисто. Похоже, в Москве тогда такого еще не было. Посетителей по раннему времени было совсем мало, а может, и совсем не было, обслужили меня быстро, вежливо и как-то доброжелательно. Я мог бы спросить, как называется их улица, но постеснялся. Расплатился и пошел по ней дальше. Пересек другую, тоже прямую, хотя и пересекающую ту, по которой я шел, под углом, но здесь (кажется, на углу) я увидел надпись: «Литейный проспект». На «моей» же по-прежнему не было ничего. Насчет нее я продолжал оставаться в неведении, но шел. И смотрел по сторонам. И все, что я видел, мне нравилось. Мне здесь вообще нравилось. Однако улица, по которой я шел, взобралась на мост через какую-то речку, явно не через Неву. По-моему, там и надпись была «Набережная р. Фонтанка», но, может быть, это позднее напластование. Не это было тут главным моим впечатлением — о том, что в Ленинграде есть Фонтанка, я тоже знал. Но при входе на этот мост (Аничков, как я скоро узнал) я внезапно оказался прямо перед оскаленной мордой и черными копытами поднятого на дыбы коня. Коня поднял на дыбы и крепко держал за узду молодой атлет. Я так и застыл перед этой композицией. Ведь это было не в музее, а просто на улице и вписывалось в эту улицу. Только потом я заметил, что таких композиций четыре — по одной при каждом входе на мост и что каждая из них при общем замысле в чем-то немного отличается от другой. Впрочем, пусть об этом рассуждают ученые искусствоведы, а я был простым пешеходом, абсолютно не подготовленным к встрече с этими знаменитыми

скульптурами. Я их раньше увидел, чем услышал о них. И я все еще не понимал, по какой улице иду. Но постепенно, чем ближе подходил к Адмиралтейству, тем больше начал об этом догадываться. Естественно. Название «Набережная р. Мойка» не могло не обозначиться в моей душе. Но я шел и шел, как будто знал куда. И подойдя к Адмиралтейству и увидев Зимний — только он оказался не красным, как я его себе почему-то представлял (похожим на Киевский университет до войны), а зеленым, но был вполне узнаваем, — я прочел надпись на указующей стрелке «Невский проспект» и понял, что я действительно шел по знаменитому Невскому. Что ж, он вполне соответствовал моему представлению о нем. А Дворцовую площадь, знакомую мне по революционным фильмам, я просто узнал, хотя не имел представления о том, что полуциркульное здание с гигантской аркой называется Главным штабом.

Итак, я дошел. Только вот до чего? До цели? Но целей никаких у меня пока не было. Все было интересно, но что было делать дальше? Со всем, о чем я имел представление, я уже вроде — пусть более чем поверхностно, но соприкоснулся. Даже с Мойкой, где жил и умер Пушкин. Оставалась еще Сенатская площадь с памятником Петру, но я не знал, где их искать. Время от времени я звонил по телефонам. Но неудачно — никого не было на месте, а куда-то девать себя надо было.

Поэтому я решил осмотреть внутренние покои этого дворца — вдруг пригодится. При других обстоятельствах тратить на это свое время мне бы в голову не пришло. Не из каких-то антимонархических чувств, а из тех же, из-за которых я, еще будучи поклонником Ленина, не торопился увидеть его в Мавзолее... А тут времени было навалом, и я направился к дворцу... Но оказалось, что попасть в него со стороны площади, то есть с парадного подъезда, невозможно. Я стал обходить дворец справа, но здесь непосредственно к нему примыкала и как бы продолжала его какая-то улица (название которой — Степана Халтурина, теперь опять Миллионная — мне стало известно только на следующий день), и обойти его с этой стороны мне представлялось невозможным. А возможность обхода дворца вдоль канавок казалась мне почему-то нелегальной...

Я обошел дворец слева и очутился на набережной, а вход во дворец оказался входом в Эрмитаж. Кстати, это было

мне гораздо интересней, чем осматривать покои дворца — ведь после Дрезденской я начал всерьез воспринимать живопись. Но что Эрмитаж представляет собой часть Зимнего дворца, было для меня тогда еще некоторой неожиданностью.

О впечатлениях, связанных с Эрмитажем, чуть ниже. По-настоящему они начались через день, и первые мои впечатления смешались с последующими. Конечно, наслаждаться изящными искусствами, находясь в подвешенном состоянии, не очень естественно, но нам, как говорится, было не привыкать. И, как я помню, и это мое посещение было полноценным. Но оно не могло быть бесконечным. Устав воспринимать, я опять оказался на улице. Бродил по набережной, каким-то образом оказался в Летнем саду, видел домик Петра. Потом по Литейному вышел на Невский, где-то пообедал — смог присесть. И все время звонил по автомату Поляновскому. Не дозвонившись до него (или узнав, что он будет только завтра — теперь не помню), я стал через адресное бюро разыскивать Раю — ее телефона у меня не было. Да, кажется, и вообще не существовало. Узнав ее адрес, я, видимо, поехал к ней, но она оказалась в отъезде. Но соседи, спасибо им, дали мне адрес ее сестры (иначе как бы он у меня оказался), и я поехал к ней на Охту. Раина сестра Фаня была года на два старше нас, но, как и Раю, я знал ее с детства, и относились мы друг к другу хорошо. Она, как и Рая, в трудный для меня момент во время войны тепло принимала и подбодряла меня в Челябинске. И теперь тоже в трудных для меня (хотя не настолько — больше нелепых) обстоятельствах я ехал к ней без всяких опасений быть ею неприятным.

И я не обманулся. Фаня с мужем Мишей и шестилетней дочкой Яночкой занимали небольшую комнатку — хочется сказать в «хрущобе», но «хрущоб» тогда еще не было — в старом доме, отведенном под общежитие для учителей (Миша преподавал в школе русский язык и литературу). И действительно, несмотря на эту тесноту (но кто тогда воспринимал «свою», да еще непроходную комнату как «тесноту»!), я был ими принят очень тепло и радушно. Мы провели вместе приятный вечер в разговорах о литературе и о многом другом — тогда в России было о чем поговорить. А

на следующее утро я дозвонился до Димы Поляновского. Мы встретились, и он привел меня к Гликманам. Там я и остался.

Произошло это совершенно стихийно. Пришел, и сошлись. Разговорились — еле успел на Охту съездить: предупредить Фаню и Мишу. И дружба эта никогда не прерывалась — до смерти Киры. А потом — уже в эмиграции — и Саши. У них тоже была только комната в коммунальной квартире (а кто тогда жил в отдельной?), а жили они рядом с Эрмитажем, формально на Миллионной, а на самом деле на Дворцовой набережной, точнее, в среднем из трех дворов, два из которых, связанные со средним арками, выходили на параллельные улицы — система дворов, довольно типичная для невской столицы. Отличие было в том, что все это было в самом центре: двор слева от дома, где жили Гликманы, действительно выходил на Миллионную, а двор справа от них выводил на Дворцовую набережную. Выходящий из него сразу видел перед собой панораму Невы с Петропавловской крепостью на другом берегу. От Эрмитажа их двор был отделен двумя или тремя домами. Вот в каком месте этого необыкновенного города я оказался почти сразу, только в него приехав! Так мне повезло.

Но все же главным моим везением были сами Гликманы... В понимании «нашей советской действительности» никто из нас никого просветить не мог, и речи об этом здесь не будет, но они очень хорошо понимали проблемы и суть изобразительного искусства, которое, как я уже говорил, только недавно (после Дрезденки) начало помаленьку мне открываться. Саша принес мне целую кучу пропусков в Эрмитаж, и я теперь мог туда ходить как к себе домой, по нескольку раз в день. Это отнюдь не излишество. Не знаю как кому, а мне воспринять сразу подряд слишком много картин очень трудно. В этом смысле Эрмитаж или Лувр еще полбеды — там наряду с шедеврами есть и много просто хороших картин. А вот национальные галереи (National Galleries) в Вашингтоне и Лондоне, где подряд один за другим следуют одни шедевры, у чуткого посетителя, который не может там провести целую неделю, должны вызывать горечь или досаду. Но я уставал от впечатлений и в Эрмитаже, хотя мог уходить и возвращаться. И это тоже было везение. Не говорю уже о том, что иногда со

мной по залам ходил Саша и многое мне открывал. Я не очень верю в объяснение картин, но передача опыта восприятия на индивидуальном уровне, то есть на уровне индивидуального общения, возможна... Саша смешно мне рассказывал о том, как водил экскурсии по недавно побывавшей в Эрмитаже выставке Пикассо:

— Я водил за собой орущую толпу молодых людей. Одни с пеной у рта поносили Пикассо, другие столь же яростно его защищали. Но ни те, ни другие ничего ни в нем, ни в живописи вообще не понимали. Но те, кто его ругал, были искренни, хотя большей частью темны, а те, кто защищал, защищали свободное искусство и свободу вообще. Такие пироги.

Пироги, прямо скажем, невкусные. Конечно, год назад на дворе был еще только девятьсот пятьдесят пятый. Сталин умер еще совсем недавно, идиотское «табу» с Пикассо было уже снято, но еще как-то не совсем, некоторых это оскорбляло, как все новшества, и, вероятно, среди тех, кто поносил художника, были и такие. И неудивительно, что свободолобивые молодые люди саму возможность лицезреть эти картины воспринимали как глоток и симптом свободы и искренне верили, что они восхищены увиденным. Я отнюдь не утверждаю, что Пикассо нельзя увлечься искренне. Мне самому многое у него дорого (кое-что даже помимо «голубого» и «розового» периодов), но дело не в нем. А в мешающей его воспринимать по-настоящему, заслоняющей его тенденциозности, в том, что из одной несвободы они, не понимая этого, свирепо рвались служить другой и строго ее соблюдать, минуя при этом приобщение к искусству, наслаждение им. Ибо оно требует полной свободы — разумеется, не свободы от высокого, как некоторым теперь кажется. Впрочем, такая способность заглушать себя в применении к политическим идеям гораздо опасней, чем в применении к художественным вкусам.

Рассказывал Саша много. Он любил и умел рассказывать. Особенно запомнился мне один забавный эпизод. По основной профессии Саша был искусствоведом, но и сам любил писать красками. В Америке даже выставлялся. А в Ленинграде по выходным он любил выходить ранним утром с мольбертом на набережную и погружался в работу. Набережная в такое время обычно бывала пустынна. Но

однажды он за спиной услышал чье-то дыхание. Обернулся: перед ним стоял пожилой еврей и внимательно всматривался в мольберт. Дальше состоялся такой диалог.

— Ви художник? — утвердительно спросил незнакомец.

— Да, — ответил Саша, чтоб не пускаться в объяснения, и опять погрузился в работу. Через несколько минут последовал второй вопрос:

— А ви знаете, бил такой художник — Левитан?

— Знаю, — кратко ответил Саша.

— Умер нищим, — назидательно констатировал незнакомец.

— Да, — согласился Саша. Опять помолчали. И опять через некоторое время последовал вопрос.

— А ви знаете, в Москве есть такой диктор — Левитан?

— Знаю, — ответил Саша.

— Ничего себе, я думаю, зарабатывает? — заинтересованно предположил незнакомец.

— Наверно, — не стал спорить Саша. Опять помолчали.

Через несколько минут незнакомец снова нарушил молчание.

— А ви знаете — я тоже Левитан? — сказал он. И грустно заключил: — Только я не нашел себе.

Смешной старик, хотя проблема, встающая за этой забавной сценкой, не так уж смешна. Двадцатый век и эту простую душу заразил тщеславием. Представлением об успехе как о широкой известности. Правда, для него она связана прежде всего с материальным благосостоянием — мысль о том, что он «не нашел себе», приходит ему в голову не в связи с Левитаном-художником (который «умер нищим»), а с Левитаном-диктором (который «ничего себе зарабатывает»). Но ведь и система ценностей голливудских и похожих фильмов о золушках, ставших в конце концов, на радость зрителю, преуспевающими певицами, ничуть не духовней. Но все же в этом не только тоска о недостигнутом богатстве (это тема вечная), а и о нереализованности каких-то неведомых и самому этому несбывшемуся Левитану его возможностей...

Убеждение, что каждый, не прозвучавший на весь мир, или никчемный неудачник, или, в лучшем случае, человек, который «не нашел себе», это умонастроение — бич двадцатого века. Конечно, вариант с однофамильцем зна-

менитых Левитанов наивен и смешон, в нем нет ничего зловещего и опасного... Ведь он ничего не сделал для реализации комплекса. В других случаях, допустим, в случае доктора Йозефа Геббельса, это стремление «найти себе» выглядело не так невинно. И обошлось дорого многим людям, всему человечеству.

Первая моя поездка в Ленинград была приятной. Но мимолетной. Не помню, чтобы я там тогда общался с литераторами. Из молодежной группы я познакомился только с Анатолием Найманом... Не уверен, что эта группа тогда уже сформировалась, и не помню, о чем мы с ним говорили. Имя Бродского — знамя этой группы — по-моему, в этом разговоре так ни разу и не всплыло...

В сущности, теперь можно переходить и к завершению этой книги, к тому, чему она посвящена и к чему вела. На носу уже развенчание Сталина на XX съезде и то, что с этим связано только косвенно, но для меня главное — мое освобождение от «честного», сиречь «ленинского» коммунизма. Другими словами, приближался конец кровавой эпохи и (пока для немногих) ее соблазнов. К этому шло, и действительно на том коротком отрезке времени, которое отделяло мою поездку от этих событий, больше ничего особо впечатляющего со мной не происходило.

Но жизнь, в том числе и моя, не состоит из одних судьбоносных перемен. Не состояла и тогда. У меня не было своего жилья, я жил на чужой даче в поселке начальников Мурашки, и пути мои там пересеклись с путями иных, иногда очень интересных людей. Тоже весьма тесно, хотя и по роду занятий иначе, чем я, связанных с атмосферой того времени. И о некоторых из них было бы грех не рассказать. Прежде всего о хозяевах дач, с которыми я имел дело и о которых я выше уже упоминал.

Но прежде чем рассказать о них, следует рассказать об их собаках. Вообще мое пребывание на этих дачах поначалу выглядело весьма экзотично. Если помнит читатель, меня пустили туда с тем, чтобы я кормил собак хозяйскими продуктами... Собак было две, обе немецкие овчарки. «Наш», то есть балакиревский разноглазый, престарелый Уран, был вдобавок наполовину волком, но нрав имел кроткий, а соседский волаевский Абрек, не имевший столь прямого родства с лесными предками, был довольно-таки свиреп.

Кормить его надо было осторожно — тихо просовывать миску с едой под калитку и лишь потом звать. А то мог тяпнуть и дающую руку.

Первое время, пока я жил один, я несколько манкировал своими обязанностями — иногда не появлялся дома по четыре дня. С тем большей радостью встречали меня мои подопечные. Нельзя сказать, что мне не было совестно — ведь собаки из-за меня дня по три ничего не ели. А я ведь еще прибегал к их помощи. Ведь приходил я чаще всего ночью с последней электрички... И когда в конце пути оказывался один в ночном лесу, мне становилось сильно не по себе. И тогда я орал: «Абрек! Уран!» — и псы заливались лаем, а я чувствовал себя защищенным. Мне становилось стыдно, и как бы поздно я ни приходил, я готовил им горячую пищу, ждал, когда она остынет, кормил их и только после этого ложился спать. Утром или днем я опять кормил их, но потом все повторялось — я опять исчезал. Это было непреднамеренно, но так получалось... Жизнь собак наладилась только после приезда жены.

Но рассказать я сейчас хочу не о собаках, а об их хозяевах. Причем не о хозяевах «нашего» Урана, Балакиревых, которым я благодарен за приют и тактичность, но с которыми я почти не был знаком, а о хозяевах соседского Абрека, Волаевых, с которыми я быстро сдружился — они навещали свою дачу и зимой.

Глава этой семьи, Николай Борисович Волаев, инженер и, как теперь сказали бы, менеджер, одно время был даже заместителем министра авиационной промышленности. На этом посту он вместе с другими руководителями министерства, нынешними соседями по даче, за выполнение важного правительственного задания был награжден Сталиным и пожалован этим участком. Потом и в начале нашего знакомства он был директором крупного авиазавода. Был он личностью яркой и оригинальной, умным, талантливым и обаятельным человеком, самостоятельным во всех своих суждениях, часто неожиданных.

Правда, в тюрьму (в Бутырки), куда он угодил в последние месяцы сталинщины и из которой недавно освободился, он попал не за суждения. Его арест не имел отношения к репрессиям — его обвиняли в должностном преступлении: когда агрегат во время сдачи продукции не смог вы-

держат испытания, он подменил методику этих испытаний. Звучит грозно — обман вообще вещь малопочтенная, а если речь идет об авиации, да еще военной, то тем более. А по тогдашнему времени такое всучивание государству некачественных агрегатов могло быть вообще истолковано как диверсия и привести к «вышке». Николай Борисович совершил это нарушение из уверенности, что «несмотря на данные испытаний» агрегаты эти вполне качественные, доверился своей технической интуиции. И, как потом оказалось, интуиция его не обманула. Некачественной оказалась сама методика испытаний, которую он подменил, чтобы избежать проволочки. Поступок был рискованный, но Николай Борисович знал, что его продукция не подведет. Нарушать методику испытаний без такой уверенности, то есть чтобы скрыть действительный дефект, он бы никогда не стал. Во-первых, он был порядочным человеком, а во-вторых, не мог не понимать, что это значило подписать себе самому смертный приговор. Тем не менее вышел он из Бутырок только по амнистии. К тому времени, как мы познакомились, он успел уже добиться юридической реабилитации и опять был директором завода. Теперь добивался реабилитации партийной и вскоре ее добился. Все это было нелегко, но Николай Борисович своей энергией и тонким пониманием тех, с кем должен был иметь дело, их языка и ритуала, преодолел все препятствия и полностью восстановил свое чуть было полностью не утерянное положение — статус, как теперь говорят. При этом всякого рода партийные органы он, естественно, глубоко презирал. И не по каким-то там идейно-политическим причинам, а потому, что путаются под ногами и мешают работать, и вообще никчемны.

А сам Николай Борисович работать любил и умел, он был по природе менеджер, может быть, даже предприниматель. Во всяком случае, он мне не раз говорил:

— Эх, Эма!.. Дали бы мне несколько миллионов и какой-нибудь пустырь и сказали: «Вот тебе деньги и место. Никакого штатного расписания и лимита зарплаты, нанимай кого знаешь и плати им, сколько сочтешь нужным. Но чтоб через год выпускал сапоги себестоимостью два рубля пара... Я бы!..»

Вспоминается в этой связи эпизод из совсем другого времени — его реакция на роман Кочетова «Секретарь об-

кома». Роман этот, воспевающий партноменклатуру и вызвавший справедливое негодование всей либеральной интеллигенции, был бездарен, как те, кого он воспевал. И не все заметили, что в основе его лежит патология — что описываемое ему нравится, что роман этот превращает бездарность в социальную категорию, рассматривает мир с точки зрения бездарного человека. Я и теперь убежден, что ни в одном другом произведении советская система не разоблачена столь подробно, как в этом воспевающем ее романе. Между тем партия отреагировала на него странно — центральные партийные газеты (а других не было) отмолчались, а все областные и городские, включая «Московскую правду», поместили на него хвалебные рецензии. Выходило, что партийные власти «на местах» удостоверяют, что портрет верен оригиналу и им нравится. А в Центре то ли не могут справиться с подчиненными, то ли просто стесняются признаться, что и им это по душе. Правда, когда этот роман стали экранизировать, у него были большие неприятности с цензурой — любование системой в изображении исчезало, а сама система оставалась и обнажалась во всей своей отвратительности...

Николай Борисович обо всей этой литературной ситуации не знал, на любование системой не обратил внимания, но изображение ее увидел сразу, и это привело его в восторг. Короче, воспринял он этот роман как острообличительный. Правда, на вопрос, нравится ли ему роман, ответил осторожно:

— В литературном отношении? Не знаю. Во-первых, в этом не разбираюсь, а во-вторых, — читать скучно*. Но с точки зрения жизни!..

И он буквально загорелся:

— Согласитесь, Эма, что я их знаю — всю жизнь с ними имею дело. Так вот — все они такие. «Какая у них общая черта?» — спрошу я вас. И ответчу: посредственность, бездарность. А что они умеют, что делают? Отвечаю: ни-че-го! Все как в жизни. Чего же вы хотите!

Поверить в то, что роман не обличает, а воспевает, он просто не мог. Он был слишком здоровым человеком для

* Далеко же зашло «просвещение» — убедить людей, даже таких самостоятельных, как Н.Б., что для того, чтоб ответить на вопрос, понравилось или нет произведение, того, что «читать скучно», недостаточно, для этого надо быть чуть ли не специалистом.

этого — такая патология была ему недоступна. Статья Марьямова из «Нового мира», критикующая этот роман, когда я ее ему показал, вызвала его возмущение как попытка опровергнуть «правду жизни». Тут можно, конечно, улыбнуться. Разумеется, Марьямов в этой статье против правды не выступал. Но беда в том, что и восприятие Николая Борисовича было хоть и удивляющим, но тоже имеющим под собой основания. Ведь выступать против кочетовской патологии можно было тоже только с позиций той же патологии. Кочетов насаждал патологическую систему оценок, соответствующую реалиям патологического строя, а для того, чтобы в легальной печати защититься от этой удушающей системы ценностей, надо было хотя бы мельком намекать, что воспеваемые Кочетовым отвратительные человеческие качества — клевета на партию и строй, что партийные функционеры не такие. И поди докажи непосвященным, что на самом деле Марьямов выступал не против показа этой отвратительной правды, а только против ее воспеваания, против навязывания ее в качестве идеала. Представить себе, что кто-то может выставить такое в качестве идеала, не мог даже издававший виды Николай Борисович. А ведь, как уже говорилось, реальность была еще хуже — сами воспеваемые себе такими нравились. Самое страшное — это то, что люди, которым было приятно так выглядеть, вели страну. Они и привели ее к сегодняшнему состоянию. Можно ли судить Николая Борисовича, что он не видел перед собой такой пропасти? А кто ее видел? Я видел и говорил (правда, несколько позже), что движение направлено в пропасть, но вряд ли представлял эту пропасть реально. Так и с героями Кочетова: мы знали, что они такие и такими себе нравятся, но разве мы понимали это? Патологию понять нельзя. Ее можно только констатировать.

Для того чтоб «понимать», что Кочетов и обличение строя несовместимы, надо было быть вовлеченным в идеологические коллизии того времени — то есть в ту же патологию... Мы и были вовлечены, потому и «знали». А он, при всем своем уме и опыте, жил в другой сфере, где эта патология выглядела иначе, была менее откровенной, более подковёрной, проявлялась больше в делах, чем в словах, и этого не знал. Привыкший к сталинскому декоруму, представить себе такое откровенное торжество патологии он был

не в состоянии. Сталинские выдвиженцы боялись сталинской плетки и свято чтити всякий декорум. Но разговор этот мой с Николаем Борисовичем происходил через несколько лет после того, как ее привычное, ставшее естественным для них устрашающее воздействие прекратилось, а внедренная в них Сталиным патология осталась — только стала освобождаться от необходимости в этом декоруме: этого он, видимо, не заметил. А мы это понимали? Только знали, что это так. Сегодняшний патологический беспредел — продолжение того же развития...

Интеллигенция наша оказалась не подготовленной к судьбоносному моменту, когда решалась судьба России. И это неудивительно. Все, с чем в сталинскую и постсталинскую эпоху имели дело все мыслящие и пытавшиеся мыслить люди, включая диссидентов, все, чему противостояли, против чего находили убийственные возражения (и что так уверенно, а порой и жестоко защищала власть), было патологией. К сожалению, опыт противостояния патологии не есть политический опыт. Потому мы и оказались столь беспомощны в роковые первые годы «перестройки». Патология эта может оказаться роковой для России — она не изжита еще и по сей день.

Все это я к тому, что в партию Николай Борисович восстанавливался не из идейных соображений — это просто было условием его деятельности. Впрочем, это вполне соответствовало его мировоззрению. Интересный у меня с ним однажды состоялся разговор на эту тему. Он часто поражал меня неожиданностями, но тут... Однако начнем по порядку... Как известно, я тогда еще верил в коммунизм, и на меня в связи с этим произвела большое впечатление фраза Маленкова: «Партия — боевой союз единомышленников-коммунистов». «Единомышленник» — это было для тех времен новое (то есть хорошо забытое старое) и живое слово. Оно возвращало к временам идейности. Однажды в каком-то споре с Николаем Борисовичем я процитировал ее. Она казалась мне бесспорной, но оппонент мой с ней не согласился.

— Нет, — сказал он и дал другое определение — привел фразу из официального лозунга: «Партия — руководящая сила нашего общества».

— Что ж, — спросил я удивленно, — так и заявления писать: «Прошу принять меня в руководящую силу нашего общества»?

Он не ответил. Он знал, что писать так нельзя и не надо, но все равно был уверен, что прав. Он и был прав. В том смысле, что партия ничем другим не была (за все остальное себя только выдавала)... А уж как она руководила, он знал лучше меня... Тем не менее эта фраза меня поразила. Поражает и теперь.

Поражает она меня какой-то странной откровенностью мышления. И тем, что при всем своем уме Николай Борисович даже не заметил, что выдает главную тайну партии, в которой по условиям своей работы не мог не состоять, да и государства тоже. Безусловно, он был прав — партия была именно таким образованием — сословием лиц, стремящихся к должностям*. В принципе со своих революционно-романтических позиций, которые он справедливо не принимал всерьез, и я тогда расценивал ее так же, но теперь, когда во мне нет и тени романтической обиды за равнодушие к коммунизму, эта фраза меня все равно поражает. Только другим — тем, что произнесший ее не видел в таком положении ничего противоестественного. А ведь она вскрывала обязательность всеобщей повседневной лжи. Той лжи, которая была чуть ли не главным несчастьем, главным губительным началом нашей жизни и которая его самого так раздражала и оскорбляла.

В его устах она была освобождена от всякой фикции. Конформизмом тут и не пахло. Ведь в лозунгах партия объявлялась руководящей силой, но партия именно коммунистическая, то есть официально стремящаяся и к коммунизму, а не просто к руководству**. Подозрения, что это не так, преследовались... Идеологичность была единственной легитимностью ее власти, единственным фиговым листочком, прикрывающим ее пустоту и нелегальность. До своей смерти связь этой власти (всего, что она творила) с легитимирующей это идеологией таинственно осуществлял Ста-

* Говорю это не в осуждение — у тех, кто чувствовал в себе способность к административной или предпринимательской деятельности, не было другого выхода, кроме как состоять в этой партии.

** Последнее было бы нормально, к этому открыто стремятся все парламентские «буржуазные» партии всего мира. Правда, стремятся, свободно соревнуясь с другими такими же, но сейчас речь не об этом.

лин (на его понимание они полагались), а теперь приходилось изворачиваться самим, плохо понимая, кто они, откуда и зачем. Ведь это были сталинские выдвиженцы, вытянутые в политику и идеологию за шиворот. В большинстве они, как и сам Николай Борисович, были неидеологизированными людьми (лучшие из них — стихийными, хотя и примитивными государственниками) и партию воспринимали как орудие управления. Но я не убежден, что из них многие решились бы даже в глубине души выразиться так откровенно, сознательно отделить партию от ее идеологии. К откровенности самосознания не имели никогда склонности и фанатики большевизма, тем более не была она распространена среди не всегда добровольных имитаторов их фанатизма.

Но для Николая Борисовича это было как дважды два. То, что он это сознавал, делает ему честь. То, что он это как бы и принимал, не обращая внимания на то, что это патология, — хуже, но, впрочем, его это мало касалось — он восстанавливался в партии, чтобы работать.

Мечта его о реализации своего призвания — о предпринимательской деятельности — в те годы была нереальной. Выглядела она неосуществимой, в первую очередь в его собственных глазах. А карьера его начала ползти вниз. При мне он сначала возглавлял большой завод, затем группу консультантов в министерстве, а потом и вовсе был переведен в Министерство геологии — возглавить его НИИ по приборостроению. Не думаю, что это происходило из-за возраста — он еще был хоть куда! — просто перестал «монтировать». Но он не унывал. По поводу последнего назначения шутил:

— Знаете, Эма, в авиации я понимаю хорошо. Поэтому у меня перед принятием решений всегда бывали и сомнения, я советовался, а здесь я всех давлю авторитетом.

Нечто подобное сказал о Каренине Лев Толстой — тот имел твердые взгляды в отношении литературы и искусства, о которых имел весьма приблизительное представление и мало думал, но когда дело касалось религии или государственной службы, в чем он хорошо разбирался и о чем много размышлял, взгляды его были далеко не столь тверды. Но в устах Николая Борисовича это была именно шутка. Не такой он был человек, чтобы, не разобравшись, «да-

вить авторитетом»... Да ведь и область была не то чтобы совсем незнакомая — пусть несколько иное, но все же приборостроение, в котором он работал всю жизнь... Просто этой фразой он пародировал «разумность» системы. Как и такой сентенцией:

— Представьте, Эма, что вы директор завода и видите, что ваш завод не выполняет план. Дела идут так, что к концу месяца он не будет выполнен... Что вы должны сделать как директор?

Естественно, я смущенно молчал, ибо такие проблемы никогда передо мной не стояли. Но он и не ждал моего ответа.

— Что? Постараетесь лучше организовать производство? Подтянуть или мобилизовать коллектив? Нет, это делу не поможет... Если вы настоящий директор, вы поступите так: отправитесь в Москву, придете в министерство и докажете, что план завышен, а значит, должен быть пересмотрен. Домой вы должны вернуться с другим планом, пересмотренным в сторону снижения. Тогда вы настоящий директор и будете на хорошем счету...

Разумеется, он тут не учил меня быть директором, а опять-таки делился впечатлениями о «любимой» системе. Прибегал ли он сам к такой самозащите? Не знаю. Он всю жизнь проработал в этой системе, в которой успех организатора производства (а это было его призванием) определялся не прибылью, а «показателями» (у меня и фраза есть такая — «извели страну на показатели»), и не мог не считаться с ее законами... Знаю только, что работать он любил, умел и хотел хорошо. Система в этом нуждалась, но только отчасти, ибо девиз ее был «любой ценой», а это часто требовало поступать вопреки смыслу и разуму. Не все это легко переносили.

Однажды, когда я к нему пришел, я застал его огорченным. Встретил он меня грустно:

— Прошел медосмотр... Давление нашли у меня... Говорят: переутомление... — И взорвался: — А с чего вдруг переутомление?! От работы?! Ну уж нет!.. Работать я люблю — от работы у меня ничего не бывает... Тут другое... Приходит один: «Николай Борисович! Он под меня подкапывается!» И второй с тем же. И третий... И каждый во всех подробностях. Куда денешься... Голова кругом.

Склоки бывают и на Западе. Но больше в университетах, чем в бизнесе или на производстве, где все подчинено делу — во всяком смысле, так еще было недавно. Но у нас они были повсеместно, вытекали из всеобщей демагогии... Николаю Борисовичу это претило и вообще, и тем, что отрывало от работы.

Но каким бы ярким человеком он ни был, то, что он вынужден был осуществляться в рамках мертворожденной патологической системы, накладывало и на него свой отпечаток. Трезво видя все, что творилось вокруг, все последствия сталинского хозяйничанья, он потом (особенно в связи с хрущевскими совнархозами) стал отделять последующее от предыдущего и возвращать свои симпатии Сталину. По его версии, «Сталин научил (в другом варианте «заставил») Россию работать». Вступать здесь в полемику с этим утверждением, с которым я всесторонне не согласен, я не буду. Да и не так это глубоко в нем сидело. Впрочем, что там Сталин! — страстность природы и раздражение на окружающую несуразицу заводили его и дальше. Одно время он и китайцев стал похваливать — за то, что они, дескать, «правильно нас критикуют».

— Давайте послушаем! — сказал он мне однажды и поймал китайское вещание на русском языке. Однако максимум через минуту выключил. Живой и страстный человек, слушать эту жвачку он был не в состоянии*. Слишком напоминало оно жвачку сталинскую, по которой он, видимо, несмотря на все свои филиппики, не соскучился. Так и сказал:

— Невозможно слушать... Тошно.

Его «сталинизм» — часть фантазмагории нашей жизни, а разве я со своим «истинным большевизмом» был вне этой фантазмагории? Он об этом «истинном коммунизме» знал больше, чем я. В юности ему, вероятно, доставалось за не совсем благоприятное тогда «мелкобуржуазное происхождение» (родители его были учителями, мать, добрую мудрую женщину, я и сейчас вспоминаю с нежностью), да и вообще ему претили повсеместно насаждавшиеся этим «подлинным» коммунизмом неистовость и восторженность.

* Замечание для тех, кто ее не слышал: отдаленное представление о ней дает северокорейская риторика о любимом вожде Ким Чен Ире.

А в Сталине его прельщала не казенщина, а то, что воспринималось им (только ли им?) как деловой практицизм — ведь столько понастроили, что многое из этого потом — ввиду того, что строилось «внеэкономически», — потеряв искусственную подпитку, развалится, ему бы и в страшном сне не привиделось. Он, конечно, понимал, что многое делалось не так, что экономической целесообразности вокруг никакой, но что дело зашло так бесповоротно далеко, не представлял. А кто представлял? К тому же он был инженером, а не экономистом. Не то чтобы он не мог понять экономических проблем, но был другим занят, привык рассматривать проблемы в другом ракурсе. Да, что ни говори, все, что он сделал и чего добился, достигнуто было в рамках этой, отнюдь не лучшей и не нормальной, по его же мнению, системы, и не мог он просто так взять и перечеркнуть свою жизнь и работу (я этого тоже не склонен перечеркивать). Ничего удивительного, что и выхода из того состояния, до которого страну довела именно система, он тоже искал, не выходя за ее рамки. Что делать, другие системы были слишком далеки и недоступны, оставалось оправдывать свою — отсюда и вера в миф, что Россия до Сталина не умела работать. Но, как ни мудри, спасение в рамках губительной системы было бы занятием более чем бесперспективным. Но никто и не спасал — наступал зрелый социализм.

Николай Борисович, конечно, был человеком своего времени, в каком-то смысле его выражением. Но было бы нелепо воспринимать его только как социологическое явление. Он был человеком, жившим, несмотря ни на что полной жизнью, и уж чего-чего, а живости ума и чувства юмора ему было не занимать. Вспоминается в этой связи такой эпизод, смешной и не смешной — как все в советской жизни. Однажды он договорился с одним колхозником, и тот на колхозной лошади (других тогда не бывало) вспахал ему участок. После этого он был приглашен к столу — выпить и закусить вместе с хозяевами и гостями. Он очень смутился и все тянул одну и ту же песню:

— Конечно... Вы ученые... Учились... Все знаете. Вам и полагается... Да... А мы люди простые, мы уж работать будем... Работать... Такое наше дело... Мы уж как-нибудь.

И так много раз, до бесконечности. Видимо, попав в непривычную для себя обстановку (в хоромы, по его представлениям) и будучи там «с уважением» принят, он хотел сказать хозяевам что-то приятное, доброжелательное, независтливое. И вот нашел такую странную формулу социального согласия. Когда он ушел, Николай Борисович подвел итоги услышанному:

— Он убежден, что работает только тот, кто ни на что другое неспособен.

Такое уважение к труду воспитал у людей социализм, добавлю я от себя.

К сожалению, последние лет восемь перед эмиграцией я с Николаем Борисовичем не встречался. Никакого охлаждения отношений не произошло — я всегда тепло относился (и сейчас отношусь) и к нему, и ко всем членам его семьи — вместе и в отдельности. Это хорошая семья, которой я за многое благодарен. Просто завертели меня литературные дела, отношения и споры. Все время собирался зайти и не заходил, а потом уехал. А теперь уж не зайдешь.

До сих пор об этом жалею. Он один из самых ярких людей, мною встреченных в жизни, и при всей успешности своей достойной карьеры, тоже не достигшей полной реализации, а значит, и полной отдачи... Несчастливая наша Родина, на что был растрочен ее почти безграничный потенциал!

Глава вторая. К свободе духа!

(Двадцатый съезд, Венгрия и отказ от «честного коммунизма»)

В предыдущей главе я касался и общей атмосферы взбудораженного времени, предшествующего Двадцатому съезду КПСС. Но в основном я рассказывал о своих встречах, делах, связанных с моим устройством, — то есть об обстоятельствах, очень важных для меня как для человека, вернувшегося в свой единственный город и не имеющего в нем ни кола ни двора. Все эти вещи меня занимали и волновали. Но, если смотреть из сегодняшнего дня, главным в эти дни было для меня то, что дело неуклонно шло к упомянутому Двадцатому съезду. Впрочем, я этого не знал —

во всяком случае, в том смысле, из-за которого он стал историческим, — я вообще не привык мыслить съездами. Но это — то, из-за чего он стал историческим, — нависало, требовало разрядки. Меня раздражала недоговоренность во всех важных для меня вопросах, например, что хотя заключенных понемногу стали отпускать, но репрессии в целом до сих пор не осудили. Я, конечно, слышал, что предстоит какой-то очередной съезд (попробуй не услышь, когда вокруг, как всегда по таким поводам, трубят на весь свет), но собственно от съезда (хотя Виктор Ворошильский сказал мне, что повестка дня там будет интересной) я привычно ничего кардинального не ждал. И все же чего-то ждал, в том смысле, что мне чего-то остро не хватало.

Да и обстоятельства мои оставались прежними — обусловленный срок нашего проживания в Тарасовке (Мурашках) закончился, и мы переехали на дачу Федоровых, в Кратово. Это было даже некоторой нормализацией статуса, впервые после Караганды мы теперь жили по месту прописки. Кроме нас на даче жили постоянные жильцы — чтобы дача зимой не оставалась без присмотра. Люди они были хорошие, в прошлом крестьяне. Глава семьи работал бригадиром проводников в поездах, как мне теперь кажется, международного сообщения. Семью его составляли мать, жена, дочка и еще кто-то из родственников. Помню, как его мать, простая и разумная женщина, объясняла мне причины жилищного кризиса в Москве:

— Теперича тут везде — в Москве и вокруг — все позабыто: все углы, подвалы, чердаки, любая клетушка или голубятня — и то заняты. А почему? Ясно почему. Тут на зарплату все купить можно. А где еще?

Она была права. Реальная заработная плата в Москве была выше, чем где-либо в стране — просто потому, что у москвичей была возможность покупать товары в магазинах по «плановым» ценам, а почти везде ассортимент таких товаров был куда меньше: т.е. рубль, полученный в счет зарплаты, весил куда меньше, чем в Москве. Того, что и московский ассортимент был достаточно убог по сравнению с любым магазином «буржуазного мира», к этому отношения не имеет. Да и кто знал, какой там ассортимент. Все знали, что он там богаче, не знали — насколько.

Но хватит об ассортименте. Это как-то само приплелось, а я просто хотел сказать, что соседи наши были хорошими и умными людьми и жили мы с ними хорошо.

А вообще жизнь моя от переезда в Кратово мало переменилась. Так же я ездил в Москву по всяким делам и для общения, так же возил и «на себе» продукты для семьи, и примерно на такое же расстояние таскал — от Кратова до федоровской дачи было не дальше, чем от Мурашек до Тарасовки. А если перелезть через высокий, плотный и длинный (длиной не меньше километра) забор, ограждавший от Раменского шоссе санаторий ЦК комсомола, и пройти этот санаторий насквозь, расстояние это еще больше сокращалось. Правда, сама поездка отнимала минут на двадцать больше, но это меня не угнетало — в электричке я читал, иногда разговаривал с людьми.

Сохранилось у меня одно смешное и грустное воспоминание той поры об одном таком разговоре со случайными спутниками. Ими оказались сравнительно молодые, моего возраста, рабочие одного из раменских предприятий... Разговор завязался почти сразу и быстро, как почти всегда тогда бывало, перешел на острые темы. Крыли, не стесняясь — и порядки на их фабрике, и вообще в стране. Было это не фрондерство, просто люди говорили о наболевшем, хотели разобраться. Однако возникшая почти сразу атмосфера полного доверия сохранялась только до тех пор, пока они не узнавали о моей профессии. Срабатывал феномен, впервые потом отмеченный Виктором Астафьевым в его замечательной «Царь-рыбе» — в народе не делают (теперь, наверное, лучше сказать: «не делали») различия между писателем и газетчиком (а газетчиков, добавлю от себя, воспринимали как «око начальства»). Обстановка сразу менялась. Сказать, что возникало отчуждение, значит не сказать ничего. Возникал испуг, сознание допущенной оплошности — словно положили за пазуху ужа, а он оказался гадюкой. Они были уверены, что раз я литератор (так я обычно обозначаю свою профессию в разговорах с незнакомыми), то я могу «описать» весь этот разговор, пропечатать его в газете (естественно — ведь с этого и кормлюсь), и тогда... Тогда, конечно, беды не оберешься. И наиболее сообразительные начинали тут же замечать следы, ликвидировать опасность.

— Да что вы его слушаете! Он ведь валенок — не знает, что говорит. Темнота... Да и вообще все, что мы тут наговорили, — болтовня. Обывательские разговоры.

Это было привычное придуривание. Советский человек в сложных обстоятельствах всегда предпочитал выглядеть темным или дурачком, чтоб не быть заподозренным в способности мыслить «некондиционно». Ибо последнее было себе дороже. И придуривание уже не прекращалось. Дальше разговоры были подчеркнута «правильными» и скучными. Слава Богу, это мучительное отчуждение начиналось незадолго перед тем, как мне надо было сходить. И я покидал их — к всеобщему облегчению.

Конечно, испуг их объяснялся недоразумением. И дело даже не в том, что я не был газетчиком. Некоторые герои «Царь-рыбы», промышлявшие браконьерством, ошибались, путая писателя с газетчиком, но последних опасались не зря — о браконьерах газеты писать могли и должны были. Но мои попутчики беспокоились бы зря, даже если бы я был газетчиком. Такие беседы, противоречащие установке «народ и партия едины», в те времена полагалось считать невозможными, а следовательно, несуществующими, и газеты никаких репортажей о них не печатали — даже ругательных. Но поскольку такие «нетипичные» беседы все-таки случались, то интересоваться ими по штату должны были не органы печати, а совсем другие органы. Конечно, сотрудничать с ними мог (независимо от своей основной профессии) кто угодно. В том числе и журналист, и писатель, но это не входило в круг их профессиональных обязанностей. И, судя по всему, меня мои попутчики в таком сотрудничестве не подозревали. Их испуг вызывал не я сам, не впечатление от моей личности, не мой, допустим, интеллигентный вид или этническая принадлежность, а только моя профессия — то, что пишу и, следовательно, могу «описать»...

Конечно, это недоразумение обидно для всей пишущей братии — как для журналистов, так и для писателей. Но, с другой стороны, в нем проявилось народное отношение к официальной прессе, перенесенное на ее представителей и на всех, кто «пишет». Обидная путаница, с которой я столкнулся, — результат страха, который был буквально впрессован в народное сознание. Люди привыкли к тому, что их на каждом шагу подстерегают мудреные опасности, что

опасным может оказаться что угодно, что и предвидеть трудно — оказалось же позорным несчастьем быть хозяйственным крестьянином. Вспомните, как моя чумаковская Федосья Максимовна пришла в ужас от того, что кто-то может предположить, что в ее доме может храниться Библия, и не могла поверить, что теперь это уже не опасно. И этот страх и отчуждение, возникшие в электричке, — это то недоверие всех ко всем, к чему стремилась и чего добилась репрессивная система, это проявление того, что она всеми способами внедряла и внедрила сталинщиной в народное сознание (а лично Сталиным и в сознание своего окружения). Так что удивляться тут нечему — в такой обстановке мы жили. До моих собеседников еще не дошло, что она уже кончилась. А для меня?

Не знаю. Кстати, этот исторический, несмотря на все его недомолвки и недомыслия, съезд происходил именно в кратовский период моего восстановления в жизни... Так что описанный мной эпизод мог происходить и в дни съезда, и даже после него. Для моих попутчиков это тогда ровно ничего не значило — конечно, интересно, но мало ли что говорят там наверху или пишут в газетах — все равно лучше не высываться: береженого Бог бережет.

А я? Естественно, происходящее на съезде должно было меня волновать — ибо имело непосредственное отношение ко всему, чем я жил и что меня ждало. И все же интересоваться съездом я начал не сразу. Как уже говорилось, я, несмотря на предупреждение Виктора Ворошильского, ничего особенно интересного от него не ждал. Правда, отвечая на мой скепсис, Витэк мне сказал, что на съезде будет стоять вопрос о культе личности, но и это не произвело на меня большого впечатления... На что-то намекающие, но ничего прямо не говорящие статьи, отмечающие между прочим, что «культ личности» противоречит марксизму, и до того иногда появлялись в печати... То, что нечто подобное будут произносить на съезде (а другого я не ждал), особого любопытства у меня вызывать не могло, и поначалу стенограммами его заседаний, заполнявшими газеты, я не интересовался. Но в один из первых дней после открытия съезда кто-то из моих друзей, к чьим словам я относился серьезно, встретил меня словами: «Выступление Микояна на съезде читал? Нет? А ты прочти!»

И я прочел. Впечатление было оглушающим. Это была резкая, откровенно антисталинская речь, первая такая в открытой советской печати. Потом пошли такие же речи других руководителей. Именно руководителей. Отчасти потому, что так, видимо, было договорено, но был и элемент искренности. Те, кто работал рядом со Сталиным, каждую минуту находились на краю могущей неожиданно возникнуть пропасти и не могли питать к нему теплых чувств. У некоторых (мне кажется, в первую очередь у Микояна) причины были более глубокие. Недавно я слышал, что он кому-то из отсидевших признавался: «Мы все были мерзавцами». Могут сказать: «Подумаешь, после всего содеянного!..» Нет, «после всего содеянного» такое самоощущение было не у всех, у кого должно было быть. Например, у Молотова и Кагановича, как о том свидетельствуют честно записанные Феликсом Чуевым его беседы с ними (а честность Чуева, несмотря на мое резкое несогласие с его политическими симпатиями, для меня несомненна), таких покаянных ноток и в помине нет. Мерзавцами эти мерзавцы себя не ощущали. До конца нивелировать человеческое различие между ними и Микояном вряд ли разумно и достойно... Но это сегодняшние мысли, основанные на сегодняшнем знании и мироощущении. Тогда же меня переполняла благодарность к тем, кто приподнимает завесу над этой стыдной тайной.

Когда пошли слухи о выступлении Хрущева на секретном заседании съезда (на Западе его называли «секретным докладом Хрущева»), я совсем возликовал. Кстати, секретным этот доклад был недолго — его стали зачитывать по всем предприятиям и учреждениям. Для камуфляжа — исключительно на партсобраниях. Только партсобрания эти были «открытыми» — присутствовать на них мог любой «член трудового коллектива». Правда, для меня это составляло трудность — я ни в одном «коллективе» не числился, и мне вроде негде было присутствовать, но и для меня вопрос разрешился благополучно. Я пошел с Игорем Кобзевым в Союз писателей на открытое партийное собрание секции поэзии — в Союзе собрания с зачитыванием «Закрытого письма ЦК»* с докладом Хрущева проводились по секци-

* Так официально тогда, точнее с тех пор, назывались все подобные, якобы секретные документы, которых за время правления Хрущева было несколько.

ям. Никакой бури бдительности мое незаконное появление на столь «секретном» мероприятии не вызвало. С одними я был хорошо знаком, с другими не столь хорошо, а остальные тоже имели представление о том, что я здесь не посторонний, а кроме того, ни у кого, хоть люди там были всякие, не было потребности препятствовать человеку узнать то, что всем другим стало доступно, проявлять рвение в охране секрета Полишинеля...

Впечатление на большинство слушателей это произвело удручающее. Ведь почти все присутствующие были представителями «сталинских» поколений, то есть поколений, сформировавшихся при Сталине и в сознательном возрасте ничего другого не знавших и не представлявших. Я имею в виду не столько своих сверстников, а все «военное поколение» (мы здесь были — представить только! — самыми молодыми и составляли меньшинство), тех, кто был лет на десять старше... У некоторых из них их случайная принадлежность к высокой (и по существу, так и не ставшей им понятной) профессии оправдывалась обстановкой, созданной властью (патологией, о которой уже здесь говорилось). Но все же они были выдвигенцы, а не вурдалаки, и были подавлены услышанным. Потом они пришли в себя и — нечего делать — стали защищать свои жизненные, но гибельные для страны интересы, то есть патологию, в атмосфере которой только и могли дышать и существовать. Ту патологию, искренним и правдивым певцом которой явился автор «Секретаря обкома» и попытка сочетать которую с реальностями жизни, предпринятую через несколько лет, и дала в итоге то, что вошло в историю под псевдонимом «годы застоя». Я не устану повторять, что с конца двадцатых мы имели дело не с реакцией, не с прогрессом, не с социализмом, не с капитализмом, не с правыми, не с левыми, не с коммунизмом даже, а с порожденной им общественной и государственной патологией и с ее производными разной степени. Патологией по отношению ко всему, даже к породившему ее большевизму, который и сам изначально был патологичен. После перестройки Россия сделала рывок в сторону освобождения от патологии. Даст ли это результаты, не знаю: слишком все привыкли к патологии. Кроме того, за эти годы весь остальной цивилизованный мир под воздействием «развивающихся» (Куда? К чему?

Неужто к торжеству подражательной ненависти и зависти?) стран и своего все более «облегчающегося» образования стал стремительно нас догонять. Может, эта патология станет лицом XXI века, может, «по грехам нашим» мы у Господа иного не заслужили, не знаю.

Блестящие успехи таких последователей Сталина, как Саддам Хусейн, не говоря уже о прямых учениках типа северо-корейских «любимых вождей» — папочки и сыночка — не располагают к оптимизму. А ведь когда президент Буш 19 февраля 2002 года прибыл в Сеул, его там встречала разъяренная толпа оскорбленных его непочтительными высказываниями о террористическом режиме Северной Кореи — ими он до сих пор воспринимается как гарант царства чистоты и справедливости. Это в двух шагах от беспримерного — даже по коммунистическим меркам — ада. И при общем языке, позволяющем понимать всю оскорбительность обращения этого режима с народом, и с ними самими, если Корея объединится на северных условиях (а на других для «любимого» режима — самоубийство). Однако такой очевидности ликующие манифестанты не верят, не верят буквально своим глазам. Отчасти, наверное, потому, что жизнь, любая жизнь слишком противоречива и негармонична, всегда в ней есть основания для недовольства или неудовлетворенности, а тоталитарная ложь противоречивости лишена вовсе и вещает как бы из глубины осуществившейся гармонии. Конечно, подобные манифестанты имеют возможность пользоваться и другой информацией, но и она часто противоречива и вообще ими не воспринимается, ибо она, по их мнению, изначально лжива, поскольку носители ее по определению продажны. Все это показывает эффективность абсолютного контроля над информацией — он сказывается и на тех, кто живет и за пределами его прямого действия*. Все это надо учитывать, размышляя о впечатлении, которое произвел «секретный доклад Хрущева» на тех, кто слушал это вместе со мной... И чье становление прошло в искусственном мире, созданном дезинформацией, поддержанной террором.

* Да, при свободных СМИ, к сожалению, и продажность случается, и многое другое. Но все-таки приходится считаться и с возможностью разоблачения (конкуренты не дремлют, даже в тех случаях, когда они сами продажны).

Точнее всех чувства многих выразил Игорь Кобзев. Он сказал (я уже приводил эти его слова, когда рассказывал о нем):

— Чем же теперь жить?

Это были не слова, а стон. Все, на чем строился внутренний мир многих людей, их примирения с совестью, оказалось, по меньшей мере, несостоятельным. Надежда на то, что великий Сталин о многих преступлениях своих подчиненных не знал, чем тешили себя многие, лопнула — стало ясно, что все они от него и исходили. Даже те, кто, не задумываясь и не мучаясь совестью, просто принимал происходящее как данность и надеялся на ее прочность, на то, что так оно и есть, и это навсегда (и соответственно себя вел), тоже оказались обманутыми, даже опрокинутыми. Еще бы! Первыми «предали» Сталина и его порядки именно те, на которых все держалось, на кого они больше всего имели право надеяться. Так что подавлены были все. Одних поразила страшная правда, других — что в ней признались.

Конечно, люди, заинтересованные в патологии, как я уже говорил, скоро опомнились и стали ее защитниками, но от удара, нанесенного им Двадцатым съездом, сталинщина уже не оправилась никогда — фикция потеряла цельность. Сегодняшние разочарования приводят к началу сталинской легенды, как бы аналогу наполеоновской XIX века... Прежде всего это глупо. Как вообще глупо сравнивать Наполеона со Сталиным. Наполеона я тоже не люблю, но в его характере не было ни мелкой мстительности, ни подозрительности, ни зависти, ни потребности присваивать себе чужие деяния. Он не объявлял себя устами своих клеветников корифеем всех наук, но работу по баллистике, за которую его приняли в престижное научное сообщество, он написал сам, и она действительно представляла ценность. Утверждение же сталинской легенды не только глупо, но и очень опасно. Наполеон оставил после себя свой знаменитый кодекс («Кодекс Наполеона»), который не был отменен и способствовал организации общества и после его удаления и смерти; от Сталина только гибельная традиция решать любые, в том числе и локальные, проблемы «любой ценой» (правда, и эта традиция тоже им не создана, а унаследована от энтузиастов большевистской революции, им она

«только» была превращена в повседневную бюрократическую рутину). Созданная им система стала разваливаться сразу после его смерти — несмотря на большое количество заинтересованных в ней или просто бескорыстно тоскующих о временах, когда от передового советского танка до Парижа было гораздо ближе, чем до Москвы (и так и не понявших, что в жертву этой амбиции была принесена вся жизнь страны, а может быть, и ее будущее). Я надеюсь, что эти гибельные «традиции» невосстановимы, что они, во всяком случае, не станут доминирующими, и Россия выживет. Но в любом случае, даже если они станут доминировать и Россия вновь вступит на дорогу гибели, им не удастся восстановить то, что было и чему был нанесен непоправимый удар в 1956 году...

Но я рассказываю о себе, о своем восприятии атмосферы вокруг Двадцатого съезда, а не о его роли в истории, хотя и ее не смог обойти... Я не только был доволен, что такое произошло, я был счастлив. И все же я не был удовлетворен. Нет, совсем не потому, что съезд в своем осмыслении событий ограничивался (в лучшем случае) идеалами «подлинного ленинизма», — мои ожидания и желания не шли дальше этого. Конечно, я еще не представлял, каковы были на самом деле эти «ленинские нормы», но просто дальше, по моим представлениям, была духовная пустота. Настораживала меня, наоборот, некоторая недосказанность и неполнота, а следовательно, неискренность в этом возвращении, в котором, как я полагал, я вместе со всем человечеством крайне нуждался. Смущала меня некая наглая, «совковая», как бы теперь сказали, инфантильность как в объяснениях, так и в обобщениях, прозвучавших на съезде. Я и теперь считаю, что личная патология Сталина — на ней в значительной степени и базировались официальные объяснения случившегося — имела место, но возникал вопрос: как такая хорошая партия могла позволить ему безнаказанно ее проявить, наложить отпечаток на созданный ею строй, а в конце концов и просто дать себя уничтожить? Я не имел ничего против идеологии, но ведь ее каждый раз приспособляли к любым текущим потребностям власти или капризам вождя. Об этом не говорилось. И, наконец, меня не устраивало само понятие «культ личности» в применении к патологической тирании. Получается, что все

дело в теоретической ошибке, между тем теория тут вообще была ни при чем. Марксистское отрицание культа личности сводится к тому, что никакая личность не может самовольно изменить ход истории. Не на каком-нибудь (пусть даже длительном) локальном отрезке времени, а в плане общего развития человечества. Все, что проделывал Сталин, не имело отношения ни к учету, ни к забвению этого положения. Применение этого термина означало, что мы остаемся в мире, где названия предметов заменены служебными псевдонимами. Не то чтобы я ясно тогда это сознавал, — вероятно, для этого надо было внутренне разделиться с коммунизмом, а этого тогда еще не произошло, — но ощущение такое было, и была неуверенность в неотвратимости изменений, вытекающих из решений съезда.

И я решил внести свою лепту в этот необходимый процесс... В эти недели готовились к сдаче апрельские, сиречь ленинские, номера журналов, и я решил написать и напечатать стихотворение, в котором Ленин противопоставлялся бы Сталину. И я написал его. Полностью я его не помню — только восемь строк:

О Ленине память не бронза,
 Не камень, что встал тяжело,
 Не пламень сияющий солнца,
 А просто людское тепло.
 ...И Ленин в истории мира
 Живет, не меняясь никак.
 На нем не сиянье мундира,
 А будничный скромный пиджак.

В человеческом плане эти строки были вполне честными, ибо соответствовали тогдашнему моему отношению к проблеме, но насчет их «высоких поэтических» качеств я никогда не питал иллюзий. Творчески это стихотворение было поделкой, ибо родилось не от внутренней потребности (о Сталине у меня к тому времени уже не такое было написано), было лишним... Но задача у меня была не творческая — я хотел легализовать тему, раздвинуть границы печатности, создать прецедент. И действительно, это было первое стихотворение в советской печати, которое противопоставляло Ленину его «верного ученика и соратника» и вообще замахивалось на «великого вождя». В либеральной «Юности» его «зарубил» Андроников. Почему? За качество?

Какое? Эстетическое? Но с каких это пор к «юбилейным» стихам (а именно под этот жанр мой опус и был закамуфлирован) стали предъявлять слишком высокие эстетические критерии? Это бы значило ликвидировать этот необходимый партии жанр. Эстетически это стихотворение вообще не существовало, но профессионально оно вполне отвечало «кондиции». «Некондиционным» могло показаться только его содержание, его убогая «смелость». Я отнюдь не осуждаю Андроникова — рисковать, если он считал это риском, существованием едва ли не самого интересного в стране журнала ради такого опуса явно не стоило (как и поделки в «Соц. Караганде», этот опус и в моих глазах никогда не был ни достижением, ни неудачей — просто был фактом моей человеческой, а не творческой биографии), но делать что-то надо было. И я отнес свою поделку в отнюдь не передовой, но расположенный по соседству журнал «Дружба народов». Там она и была напечатана. Ее редактор Г.Корабельников принял ее без звука — понял, вероятно, что она соответствует конъюнктуре.

Никаких громов и молний не последовало. Опус мой вообще мало кем был замечен. Только Расул Гамзатов при встрече хитро улыбнулся и шутливо стал меня упрекать:

— Ты зачем, Эмка, в моем журнале, где я член редколлегии, антисоветские стихи напечатал? А?

Оба мы рассмеялись, оба мы знали, что такие стихи теперь уже не антисоветские, а «соответствующие линии партии», хотя еще недавно, а тем более до пятидесят третьего года противопоставление Сталина и Ленина было одним из самых жестоких криминалов, троцкизмом и Бог знает чем...

Не знаю, имело ли мое стихотворение, точнее факт его публикации, хоть какое-либо значение для легализации темы. Думаю, что в лучшем случае незначительное. Может, один-два автора, увидев, что «теперь так можно», стали строчить «смелые» стихи — появился тогда в литературном обиходе такой термин*. Но это произошло бы и без моего стихотворения — в ближайшие месяцы так стояли звезды (кремлевские тоже), — а потом уж этого было не остановить, хотя

* Я тогда дал им такое определение: «Смелыми называются стихи, которые пишутся, дрожа от страха. Иначе как определить, что они смелые?» Стихи должны быть необходимыми, а не «смелыми».

временами и пытались. Эта коллизия («противостояние патологии») наложила свой тяжелый отпечаток на жизни и облик нескольких поколений, задержало их развитие... Но это другая тема — тогда я еще не мог знать, как будет все это развиваться... То, что легализация темы обошлась, скорее всего, без меня, меня тоже вполне устраивало — мое творческое самолюбие на его судьбу не распространялось. Я вообще скоро о нем забыл*. И сейчас я вспомнил о нем, точнее не о нем, а о причинах, побудивших меня его написать, только потому, что это свидетельство моего состояния и неуверенности в прочности обещанных перемен. Хотелось удостовериться.

Но в целом Двадцатый съезд не произвел на меня такого грандиозного впечатления, как на многих, кого я встречал... Он ничего мне не открыл, не потряс. То, что с другими происходило теперь, со мной произошло в 1949 году, в чумаковской библиотеке. И хотя все происходящее теперь меня остро волновало, я сохранял способность анализировать происходящее и отмечать для себя этапы освобождения. «Освобождения чего от чего?» — спросит дотошный, а то и ехидный читатель. «Освобождения истинного большевизма от задушившей и подменившей его сталинщины, освобождение преступного заблуждения и соблазна от патологии», — нагло отвечу я. Только и всего. Как просто! Просто?

Да, для меня в тот момент это было просто. Но семь лет назад, когда со мной это произошло, это было совсем не просто. Для многих это освобождение наступало только сейчас — не один Игорь Кобзев задавал себе вопрос: «Чем теперь жить?» Для многих оно наступило только в начале «перестройки» — ибо централизованная утайка правды о сталинщине продолжалась до Горбачева. Да и сейчас еще на всех уровнях власти продолжают попытки смягчить впечатление от этого падения... «Объективно» отметить его положительные стороны. До сих пор это находит отклик.

* Правда, в свободной эмигрантской печати один пакостник напомнил мне о нем — с разоблачительным намеком, что тогда, в 56-м, и я воспеваю Ленина. Что ж, не только воспевал, но признавал — вообще не был тогда таким умным, как он сейчас стал, благодаря мучительной внутренней работе, проделанной мной и такими, как я. Но как раз в этих стихах, как здесь уже говорилось, Ленин и «воспевание» его — только ширма. Имелось в виду другое.

Сегодняшней слабости противопоставляется достигнутое при нем «любой ценой» величие, хотя сегодняшний беспредел — результат этой платы «любой ценой». Ничего не поделаешь, тут какое-то «влечение — род недуга»: оно гибельно, от него, чтобы выжить, надо излечиться, но оно продолжается до сих пор. От чистого большевизма давно бы освободились, он был не менее преступен, но он был тем, чем он был и себя объявлял, а «идеология» сталинщины — это фата-моргана, не имеющая очертаний. Ей поэтому ничто не противоречит, чистая патология — дьявольщина. Так что не такой уж это лишний этап спасения — освобождение большевизма от сталинщины. Конечно, если на нем не остановиться. Но опыт потом показал, что остановиться невозможно.

Патология сталинщины, как всякая патология, ближе к энтропии и чем даже самая воинственная утопия и потому более живуча. Если ее сопротивление так ощутимо еще и теперь, то как оно должно было ощущаться тогда? И оно ощущалось. Через несколько недель после съезда вышло специальное Постановление ЦК «О культуре личности», пытавшееся совместить сказанное на съезде с привычной бессмыслицей. К этому толкало не только давление «кадров», но и то, что на многих партсобраниях разоблачителям Сталина задавался сакраментальный вопрос: «А вы где были?» Вопрос был справедлив, но я не убежден, что его следовало задавать. Он ослаблял позиции тех, кто все-таки выступил против Сталина и не мог укрепить позиций тех, кто стремился к большему. В своей политической активности либеральная интеллигенция была, как всегда, слепа — занимаясь самовыражением. Зная, пусть приблизительно, чего она хочет и не хочет, считая и сам разговор об этом политикой, она почти не задавалась вопросами собственно политическими — не думала о том, кто и как это может провести в жизнь, как его поддержать и не оттолкнуть. Впрочем, время было смутное, и это «похолодание», как оказалось, было ненадолго... Как многие последующие «похолодания» и «потепления». Но будущее было неизвестно. И всех эти колебания беспокоили.

Освобождение от сталинщины было чревато и боковыми последствиями. В мае кончил самоубийством Александр Фадеев — «от алкоголизма», как гласило официальное со-

общение (лживое, как я потом узнал)... Я ответил на это самоубийство недоброй эпитафией:

Проснулась совесть, и раздался выстрел:
Естественный конец соцреалиста.

— Да, но все же такой-то (фамилию я помню) самоубийством не кончит, — сказал мне в ответ на эпитафию Виктор Ворошильский, когда мы с ним встретились в Алма-Ате, где он был в командировке, а я гостил у родственников.

Он прав. Деятели соцреализма хватало, но не все они были настоящими писателями и личностями, а Фадеев, несмотря на все извивы своей биографии, был. Я был на него зол за многое, особенно за Люду Вырикову из «Молодой гвардии», которой он испортил жизнь. Об этом я узнал потом. Он, поверив облыжной «информации» МГБ, объявил ее и в романе, и в кинофильме предательницей своих друзей. В Карлаге после демонстрации этого фильма надзиратели вытаскивали ее на авансцену: «Смотрите, это она всех предала!» В том, что она после этого поседела, виноваты были не надзиратели, а он, тонкий и талантливый интеллект, дезинформировавший их. А это не единственное, что он мог поставить себе в счет. С тех пор как он сам себя предал, облил ядом ненависти и презрения свои лучшие человеческие качества в первом и лучшем своем романе «Разгром» — в образе Мечика. О нем в романе не рассказывается ничего дурного, но о лучших его проявлениях говорится со скрежетом зубным как о чем-то гнусном, почти с гадливостью. Все в романе правда и все несправедливо. Прямая неправда только завершение романа, где Мечик цинично и грубо — по строю чувств — предаёт своих товарищей... Конец не вытекает из того, что мы знаем о герое, а только из предвзятого отношения автора к нему, а клеветает на него — уже не только псевдоэмоционально, но и фактически, не превращает тенденциозность в истинность, а фокусирует эту тенденциозность.

Сегодня это видно невооруженным глазом, но в середине двадцатых это вовсе не было ясно — ни автору, ни его молодым интеллигентным читателям, как и он, стремившимся принять основы революционной жизни, приобщиться к тому, что противоречило их природе и воспитанию,

искренне желавшим выжечь в себе все это «мелкобуржуазное» наследие. Теперь в этом склонны видеть одну низменность, приспособленчество, а то и просто страх. Но была в этом и идейность, то есть был в этом и страх духовный — боязнь поставить свои неудобства выше интересов рабочего класса, который творит историю, боязнь неучастия в этом привлекательном процессе. Но все равно такой отказ от себя, от лучшего в себе, а в конечном счете от доверия к себе, ни к чему хорошему не ведет. И не привел: ни их самих, ни возлюбленных рабочих и крестьян, ни общество, ради которого они и шли на такие жертвы...

Бедя Фадеева усугублялась тем, что он позволил себе втянуться (или, может, «партия велела»?) в такую фиктивную патологическую деятельность, как руководство литературой*. А там пошли интриги, а там поддержка Сталина в борьбе (справедливой даже борьбе) с Авербахом, а там подневольное и пассивное, но участие в вакханалиях тридцать седьмого года и прочих веселых кампаниях (при привычном мечиковском недоверии к себе и потребности любить и оправдывать Сталина, и безграничном же умении убеждать себя в его весьма подвижной и меняющейся — правоте — это было почти естественно)... Мне известны случаи, когда он настраивал себя и на антисемитизм, в целом ему чуждый. Но, слава Богу, личных подвигов в этом направлении у него нет. Но позорные «Молодая гвардия» и «Черная металлургия», написанные с учетом подсказок (пардон, информации) МГБ, за ним, к сожалению, есть. У меня теперь нет никакого желания бросать в него камни. Отчасти и потому, что хоть это касается короткого периода моей жизни, кое в чем сходного, чувствую себя виновным и я. Конечно, не в его делах, но в помыслах — в его отношении к жизни и истине. Не хотел бы бросать в него камни и потому, что не знаю (не представляю!), как можно было вырваться из объятий той страшной эпохи, более простодушному началу которой Марина Цветаева произнесла свой страшный приговор: «Не человек — кто в наши дни — живет!» Мне просто больно за этого талантливого, тонкого, чуткого (вернувшись с первого исполнения Пятой симфо-

* «Опять «патология»! — воскликнет мне какой-нибудь стилист. — Сколько можно!» — и будет прав. Но это, к сожалению, не «опять», это то же самое. Не моя вина, что она была во всем.

нии Шостаковича, он записал в дневнике: «Все пропало». Что-то, значит, жило в его душе параллельно деятельности), по природе, видимо, благородного человека. Мне жаль, что после всего, в чем он вынужден был принимать участие, после того как это перестало морально покрываться «гениальностью» Сталина, Фадеев не увидел для себя иного выхода, чем тот, который он избрал.

Как христианин я не вправе одобрить такой выбор, но страшно представить его встречи с уцелевшими писателями, на арест которых он в свое время дал «добро» (и даже постарался подвести под это базу). Все знали, что без этой формальности, без его подписи как руководителя Союза никакие действия в отношении писателей не производились, но не все — что он не мог не завизировать такой документ. Попробуй откажись, если «авторитетное» учреждение сообщает тебе, что в отношении такого-то точно установлено, что он занимается враждебной деятельностью. Попробуй посмотри в глаза людям, пусть несправедливо, но ведь и не совсем безосновательно уверенным в том, что «посадил» их именно ты и что, находясь на таком посту, палец о палец не ударил для выяснения их невиновности, в которой у тебя не могло быть сомнений. И как им объяснить, что не визировать их аресты ты не мог? Попробуй откажись, если компетентные органы конфиденциально сообщили тебе, что ими точно установлено, что такой-то занимается враждебной деятельностью. И по тем же причинам ты и потом не мог ударить палец о палец для спасения своих товарищей по партии. И потом столько пришлось затратить сил на то, чтобы примириться с их гибелью, а теперь они возвращаются, все прибывают и прибывают. И куда деваться? Начать объяснять себе и другим, как ты позволил превратить себя в высокопоставленного холопа при спятившем властелине? Зачем — ведь не примирит это их с тобой; ведь они тоже большевики, а большевики никому, кроме себя самих, слабости не прощают. А мне Фадеева все равно жаль. Я не знаю, как бы он мог жить, но мне жаль, что он застрелился. Еще и потому, что вместе с ним погибла та очень важная книга, которую он должен был написать о себе — о том, к чему приводит отказ от себя, какими бы высокими соображениями он ни оправдывался.

Однако вернемся к моей эпиграмме. При всей своей недоброте она — и это правильно отметил Витэк Ворошильский — все-таки отмечает в нем проснувшуюся совесть. Сегодня я думаю о Фадееве еще мягче. Совесть в нем никогда и не засыпала, она в нем всегда жила и была при нем в любой, даже самый недостойный момент его деятельности. Он ее всегда перебарывал, но никогда окончательно. Он всегда слышал ее голос, но поддерживал в себе веру, что она неправа, что это в нем говорит мелкобуржуазная мещанская косность... А когда ее правота стала для него очевидной — произошло то, что произошло...

Не знаю, почему я уделил здесь столько места самоубийству Фадеева, человека, с которым даже не был знаком и который не имел даже косвенного отношения к моей судьбе (разве в общем порядке санкционировал и мой арест, если это требовалось, но вряд ли требовалось). Меня его судьба теперь взволновала, наверное, потому, что всеми своими заблуждениями, заведшими его в тупик, он все равно часть нашей общей трагедии, а следовательно, и биографии моей — тоже. Но это сегодняшние мои мысли. Тогда я не ощущал никакой близости к нему (в лучшем случае считал его изменником делу, которому я тогда все еще оставался верен) и поэтому не испытывал никакого чувства потери в связи с его трагическим уходом. Вообще его судьба привлекала тогда гораздо меньше моего внимания, чем ей уделено здесь. Мой короткий разговор с Витэком Ворошильским по поводу моей эпиграммы (при абсолютно безболезненном признании мною его правоты) вполне исчерпал для меня тему. Гораздо больше занимало меня предложение Витэка — не ехать в Москву поездом, а лететь самолетом, чтобы по дороге задержаться в Караганде.

В моих планах это ничего не меняло. Поездка из Алматы в Москву на поезде тогда занимала пять суток. Пребывание наше (моей жены и маленькой дочери) все равно подходило к концу и дата нашего отъезда не менялась. Просто мои уезжали на поезде, а я в тот же день вылетал самолетом, но делал остановку в Караганде — тогда современных лайнеров еще не было, а Ил-14 нуждался в промежуточных посадках. Тем не менее, проведя в Караганде дня три, я все равно поспевал в Москву раньше, чем мои туда приезжали, и мог их встретить. Для меня это было еще фан-

тастикой — возможность лететь самолетом предоставлялась мне впервые.

Предложение Виктора состояло в том, что он брал на себя покрытие разницы в стоимости железнодорожного и авиационного билетов. Без меня он в Караганду лететь не мог, ибо для иностранцев, даже из стран соцлагеря, Караганда по бюрократической инерции все еще оставалась закрытым городом. Ничем такое нарушение устаревшего запрета никому не грозило, но в гостинице его бы не прописали, а знакомых у него в этом городе не было — в отличие от меня, у которого, как он знал, их было много*. Тем не менее до самого его отъезда из Караганды (я улетал на день позже) я никому не говорил, что он из Польши — просто Виктор, мой товарищ по институту. Его русский язык вполне допускал такую мистификацию.

Описывать свое ощущение полета я здесь не буду. Я давно это сделал в своей поэме «Современники», основу которой вообще составили впечатления от этого посещения Караганды. Но первый полет — дело особое, не говоря уже о том, что на «старинном» Ил-14 он ощутимей, чем на современных Ту, Илах или боингах — непосредственной ощущение пространства и плотности воздуха, на которые опирается самолет. Но главное — встречи. Кто встретил меня в аэропорту, то есть с кем я смог заранее договориться, точно не помню. Кажется, это был Роберт. Но, может, и Миша Бродский. Где мы жили, не помню тоже. Друзей у меня там еще было много. Тогда в Караганде еще жили все, кого я покинул — кроме уехавших раньше меня Вавы Герлин, Заяры Веселой и Алика Вольпина, — и Ольга (тогда-то она и познакомила меня с удивительной женщиной Кертой Нууртова, о которой чуть ниже), и Софья Давыдовская, и Недовесовы, и Роберт, и Миша Бродский, и Гена Иванов, и все мои приятели-журналисты. Так что было среди кого закрутиться. Журналисты по разным причинам — в основном выпивошным — возили нас по всему городу. Выпивали. Болтали. Обстановка была сердечная, но Витэк

* Теперь не так. Под воздействием времени и истории в «освобожденной» Караганде не осталось как будто никого — иных уж нет, а те далече: в Москве, в Германии, в Израиле, в Америке. Роберт ездил в Караганду с Тасей навестить Таинных родственников и никого из общих знакомых не встретил и вообще нашел мрак и запустение, распад (который мы сами себе искусственно устроили, как, впрочем, и расцвет).

строго сохранял свое инкогнито. Наибольшее впечатление на него производили не наши застолья, а примелькавшиеся всем нам как деталь пейзажа заборы и вышки «рабочих зон», расположенные прямо на улицах среди города по соседству с нормальными домами. Потом он описал это в своей газете — разумеется, не помянув ни меня, ни кого бы то ни было другого. О советских лагерях он, как всякий поляк, знал много и до этого, но, видимо, такая их вписанность в быт и пейзаж его все же поразила. «Вписанность в быт» — ведь все новостройки Караганды, все жилые здания Нового города, в которых мы с ним бывали и ночевали чуть раньше, были такими же зонами. Поражало! А не платимся ли мы до сих пор за то, что нас перестали поражать такие поразительные вещи? Или что допустили до такого положения, когда это перестало удивлять? Витэк в Караганде понравился.

— А кто этот твой приятель? Прибалт, что ли? — спросил мой друг Гена Иванов, когда Витэк уехал.

— Нет, поляк!

— Поляк?! Что ж ты мне не сказал!.. Я б его расспросил о том, что происходит в Польше...

Я ему объяснил, что был связан словом... Но он все равно долго сокрушался:

— Как же так... Я б его расспросил... Мне интересно...

Нелишним будет отметить, что русские интеллигенты в те годы использовали польскую партийную прессу как источник информации о том, что происходит в мире и в мировой культуре. Она писала об этом намного больше и гораздо менее инфантильно, чем вынуждена была писать наша. Знание польского языка было тогда большим преимуществом, оно открывало доступ к информации... Но в это время наиболее ценной была для нас информация о самой Польше. Там происходила революция — только пока в пользу выпущенного из тюрьмы Гомулки, а не против него. В Алма-Ате я несколько оторвался от этой информации, но в Москве ее восполнил. Она меня волновала...

Но все это было перекрыто Венгрией. И скоро Витэк, чьи честные и тревожные репортажи из Будапешта в его газете «Nowa kultura» несколько недель были единственным источником информации о тамошних событиях, в СССР надолго стал *persona non grata*. Так что отчасти даже хоро-

шо, что никто из тех, с кем он общался в Караганде, не знал, с кем имеет дело. Но о том, что так будет, тогда еще не знал и сам Витэк. И даже потом, несколько позже, когда после защиты им кандидатской диссертации мы провожали его домой, этого не знал еще ни он, ни кто-либо из провожавших. Потому что не было еще Венгрии, точнее, венгерского народного восстания и, что для меня самое важное, подавления его силами советских войск. Но и то и другое неотвратимо надвигалось. И вместе с этим мое освобождение от всякого коммунизма, от пут идейности.

Но я не могу увести свое повествование из Караганды, не рассказав об одной карагандинской встрече. Это была встреча с уже упоминавшейся выше Кертой Нуортова. Ольга очень настаивала на том, что я не должен уехать, не поговорив с Кертой. Ольге я верил и последний свой карагандинский вечер провел у Керты. Ольга была права — эту возможность нельзя было пропустить. Нельзя ее пропустить и здесь.

Судьба ее была феерической, а биография уникальной, что само по себе интересно. Но вдобавок и то и другое имеет прямое отношение к сути этой книги.

Начну с предыстории, она у нее тоже весьма интересная. Керта была дочерью известного финского социал-демократа, вхожего к Ленину. И сама она революции, в том числе и мировой, была предана беспредельно... До тридцать шестого года жила в Ленинграде. Не помню, где она работала постоянно, но время от времени по заданию штаба Ленинградского военного округа выезжала в командировки — в страны Скандинавии. Она и теперь еще была красива, а тогда и говорить нечего — это ей, вероятно, помогало в ее «работе». В 1936-м ее арестовали. Был ли тогда жив ее отец и что с ним случилось, не помню. Важно то, что она получила свои пять лет лагерей (поначалу всем давали по пять), отсидела их и к началу войны освободилась. Поселилась она в Алма-Ате, вышла замуж за журналиста или писателя, фамилия которого была у меня на слуху, но теперь забылась, и мирно жила там, до 1944-го, кажется, года. И тут началась ее история.

Однажды ей сообщили, что ее срочно вызывают в Москву, в Министерство госбезопасности. Это был не ордер на арест, а вызов. Ее, как важную персону, доставили в Мос-

кву прямо в кабинет Меркулова. Кажется, он был тогда замминистра. У нее спросили, хочет ли она во время войны помочь Родине; она ответила, что, безусловно, хочет. Потом ей был задан вопрос, согласна ли она быть переброшенной на агентурную работу в Финляндию, и она тоже ответила согласием. Задание у нее было ответственное — выяснить планы предстоящего финского наступления.

Она быстро прошла необходимую подготовку, и ее сбросили где-то в лесу севернее Хельсинки. Она кое-как спрятала парашют и явилась на явку — агентуры у нас везде хватало (энтузиастов не сеют, не жнут, они сами рождаются). Спряталась она у известной писательницы — после войны ее пьеса, озаглавленная «Какой-то (какой, не помню) дом», ставилась в Москве, но речь не о ней.

Парашют нашли. В газетах стали писать о том, что противник забросил агента. И скоро стали гадать, зачем противник это сделал. Этого взять в толк никто не мог. Кто-то даже предположил, что он прибыл с предложением сепаратного мира (о чем, по словам Керты, тогда уже открыто мечтала вся Финляндия), а тут по найденной детали туалета выяснилось, что агент — женщина, и стали писать об особом коварстве врага, использующего для агентурной работы слабый пол (как будто это давно не вошло в мировую практику). Потом — утихло.

И Керта постепенно с помощью «друзей» сняла квартиру в Хельсинки, поселилась там и спрятала в укромном месте рацию... Устроилась на работу. Короче — легализовалась. Работа была выбрана не без расчета — она поступила в модную дамскую парикмахерскую, расположенную к тому же в центре столицы, недалеко от Генерального штаба. Работали там жены высокопоставленных чиновников, в том числе и чинов Генерального штаба (в Финляндии во время войны была всеобщая трудовая повинность, и где-то работать обязан был каждый). Работа эта была удобна тем, что можно было слушать разговоры этих дам и черпать из них нужную информацию. Если бы, допустим, готовилась крупная операция, участились бы командировки на фронт офицеров Генштаба, и это как-то проскальзывало бы в разговорах их жен...

И она вслушивалась в эти разговоры, но безрезультатно. Никакой тревоги в связи с предстоящим наступлением,

разлукой с мужьями и тому подобным в их разговорах не чувствовалось. В 1944 году Финляндия никакого наступления не готовила, думала только о сепаратном мире.

Правда, попутно она узнала другое — как началась советско-финская война для финнов. Оказывается, у финнов тогда не было бомбоубежищ, поэтому женщинам и детям было приказано при объявлении воздушной тревоги собираться на стадионах. Дескать, противник увидит, что это женщины и дети, и, естественно, обстреливать их не станет. Но противник повел себя неестественно — увидел, но обстрелял... Кто персонально виновен в этой жестокой глупости — летчики или их командование, — не знаю, но в первую очередь виноват тотальный, деморализующий страх, выбивший из людей элементарное доверие к своему разуму. Результат не замедлил сказаться. До этого страшного эпизода — так мне рассказала Керта — существенная часть финнов сочувствовала СССР — на этом сочувствие большинства из них кончилось, и Сталин получил против себя всю Финляндию, что вряд ли соответствовало его интересам как завоевателя...

Но вскоре Керте пришлось прекратить наблюдение. Так и не выяснив планов непланируемого наступления, она провалилась. Не по своей вине. В тот дом, в одном из сараюшек которого она прятала рацию, явилась с обыском продовольственная полиция и вместо ожидаемого продовольствия случайно обнаружила эту рацию. Была устроена засада, и когда Керта пришла за своей рацией, она была схвачена. И началась главная часть этой истории.

Ее тут же доставили в контрразведку Генерального штаба. Звучит грозно, но следователь, который там ее встретил, оказался мягким интеллигентным человеком, совсем непохожим на тех, с кем ей пришлось иметь дело на родине. (Как потом она узнала, он был адвокатом по мирной профессии.) Но на первых допросах присутствовали начальник контрразведки и начальник политической полиции. Запираться было глупо — она была поймана с поличным, но она все равно отказывалась говорить, даже назвать свое имя. Это было неважно. Принадлежность Керты к финскому племени была для всех присутствующих несомненной, а финны — народ немногочисленный, в элиты ее входит обозримое число семей, а своих эмигрантов они, на-

верное, вообще знали наперечет — так что по имени тоже можно было кое-что выяснить (может, выяснить сообщников — а что еще ей теперь было скрывать?). Но она все равно запиралась, и начальник политической полиции, человек, по ее словам, мрачный и несимпатичный, в конце концов не выдержал.

— Рассказывайте лучше все добровольно, учтите, что у нас есть средства заставить вас говорить, — сказал он. И, увидев некоторое смущение присутствующих военных, добавил: — Нет, мы не собираемся пачкать об вас руки. Но у нас есть немало пленных энкавэdistов, которым достаточно даже не дать — показать! — пачку сигарет, и они из вас выбьют все, что нас интересует...

Сказал и вышел. Он не знал, насколько достоверно прозвучали для нее его слова. Но «ее» контрразведчик, оставшись с ней наедине, испытывал большую неловкость — к такому обращению с дамами он не привык. Это сейчас, как я где-то читал, женщин на улицах Хельсинки и по одежде, и по повадке трудно отличить от мужчин. Тогда еще просвещение не зашло так далеко — отличали.

Он всеми силами пытался сгладить впечатление от этого разговора и объяснял ей, пойманной с поличным разведчице противника, что этот человек для финской армии совершенно посторонний и нехарактерный, что армия никогда ничего подобного не допускала и не допустит и тому подобное. Когда ее привезли обратно в тюрьму и она осталась одна, она сделала из этого соответствующие выводы, холодные и практические. Главное, что ей следует сделать — это влюбить его в себя. Как она этим воспользуется, видно будет, но добиться этого надо. И потому так запираться глупо, надо путать следы. И разговаривать, разговаривать — уж ей-то есть чем его поразить, внутреннего содержания хватит.

И начались у них допросы-беседы. Она наконец назвала свое имя. Конечно, не свое, но и не любое — в силу указанных выше причин это было невозможно, — она назвалась именем одной своей знакомой, тоже финки, и дала следующие «показания»:

— Я, такая-то, была вызвана из города, где я жила, в Москву, где была принята человеком, которого я не назову, и получила задание, о сущности которого тоже не ска-

жу. И если бы не случайная находка продовольственной полиции, я бы его выполнила. Но рацию обнаружили, и вот я здесь.

Керта держалась твердо. Когда ей устроили очную ставку с приютившей ее писательницей и та появилась, Керта, чтоб продемонстрировать, что они незнакомы и дать той понять, что она не «раскололась», устроила целый спектакль.

— Не смотрите так на меня! — заорала она. — Я не предала свою страну, я служу ей!

— Успокойтесь, дитя мое, — заговорила писательница. — Я вовсе так на вас не смотрю.

Сигнал был принят, и писательница, зная, что о ней ничего не известно, вела себя соответственно.

Короче, Керта стояла на своем, но больше они беседовали. Такая невероятная, по его (но отнюдь не по ее, она-то знала, через что иногда приходится пройти людям) меркам, стойкость во взаимодействии с женской красотой и обаянием действительно покорила сердце одетого в мундир интеллигента. И он все пытался проникнуть в тайну этой стойкости, в то, что за ней стоит. А она охотно шла ему навстречу. И тут произошло нечто, для нее неожиданное.

— Я ему рассказывала, — делилась она со мной пережитым, — о наших планах переустройства мира, трудовом энтузиазме молодежи в первую пятилетку (сегодня в это трудно поверить, но это бывало), о том, как у комсомолок на строительстве Сталинградского тракторного, когда они на морозе устанавливали металлоконструкции, пальцы рук примерзали к железу... И вдруг... Вдруг в его глазах вместо восторга я увидела искреннее недоумение.

— А зачем, — спросил он совершенно простодушно, — устанавливать металлоконструкции зимой?

— И я осеклась, — продолжала Керта свой рассказ. — Этот вопрос меня ошеломил. Он вовсе не хотел меня сразить, он на самом деле не понимал, и я впервые задала себе вопрос: «А действительно — зачем?» — и не смогла на него ответить. Его простодушие оказалось сильнее моей изощренности. Романтический образ первой пятилетки стал разрушаться от первого прикосновения. Изменения произошли и во мне. Я хотела в своих целях влюбить его в себя. И влюбила. Но постепенно — ведь все это длилось недели и

месяцы — начала влюбляться сама. Его простодушие — простодушие нормального, здорового, порядочного человека — оказывалось силой, перед которой я не могла устоять.

Между тем, пока продолжалась эта странная идиллия, политическая полиция не бездействовала, и однажды ее сумрачный начальник появился у Керты в камере.

— Вы нас обманываете, — объявил он, — вы не такая-то, вы — Керта Нуортова.

Удар был неожиданный и поэтому сильный. Но Керта устояла и, главное, нашлась.

— Вы меня очень огорчаете как женщину. Керте Нуортова должно быть сейчас уже сорок лет, неужели я выгляжу на сорок лет? — почти искренне сокрушалась она.

Видимо, так она не выглядела, и начальник, засомневавшись, вышел. Через несколько минут после его ухода Керта попросила надзирателей передать «ее» следователю, чтоб тот срочно вызвал ее, и когда ее привезли в контрразведку, рассказала ему об этом визите. Тот возмутился:

— Да что он вмешивается не в свои дела! Какое он право имел?.. Как он смел!.. Да я сейчас!..

— Вы сейчас возьмете лист бумаги, и мы составим протокол моего признания, — прервала его Керта. — Дело в том, что я действительно Керта Нуортова.

— Почему же вы столько времени отрицали это, а теперь признаетесь? — недоумевал он.

— А потому, что если эта опытная полицейская ищейка напала на след, она с него не собьется. И получится, что вы столько времени возились со мной без всякого толку, а он издали добился успеха. А я не хочу этого. Пусть лучше эти лавры достанутся вам.

Потом Керта не выдержала напряжения и стресса, и у нее случился нервный срыв. Такие перепады, как советский лагерь, а потом «высокое доверие Родины», и финские впечатления, включая простодушие следователя... А тут еще начались мирные переговоры, и Сталин требовал безоговорочной капитуляции, которую, как она хорошо знала, ни в коем случае нельзя допустить, ибо она грозит этой милой стране разрушением и несчастьями... А как не допустить?..

Все эти перепады не прошли даром, и она заболела.

Она почти ничего не помнила о своей болезни... Только что лежала в забытьи, а приходя в себя, обнаруживала, что

лежит в постели в окружении своего следователя, начальника контрразведки, начальника политической полиции и стенографистки — и непрерывно что-то говорит, говорит, а они записывают. Когда она совсем очнулась, уже была весна. Наши по-прежнему требовали безоговорочной капитуляции, но финны на это не шли. И с целью помочь им не допустить этой капитуляции она написала или составила из части того, что наговорила (точно не помню), мемуарную книгу о своих лагерных впечатлениях, которая вышла на финском и шведском языках. Книга имела успех в этих странах, о ней писали в газетах, но за границы этих стран она не вышла. В 1944 году книги о советских лагерях не импортировали широкому читателю.

Как шпионка она по-прежнему подлежала суду, но судить ее никто не хотел, и все, кто мог, затягивали дело — дожидались амнистии по случаю заключения мира. Мир, который в конце концов был подписан, не был безоговорочной капитуляцией. Сыграла ли тут роль книга Керты, не знаю, да и кто это может знать. Но что Керта на это работала — факт.

Она вышла из тюрьмы, но теперь над ней нависала угроза, намного более страшная, чем финский суд и его приговор, — советские контрольные комиссии... Ее следователь, по случаю окончания войны демобилизовавшийся и вконец потерявший от нее голову (добропорядочный семьянин, он готов был ради этой удивительной женщины оставить жену и детей), предлагал ей бежать в Швецию. «На границе нет никакого паспортного контроля, а ваши ведь тебя расстреляют», — говорил он, и она знала, что он недалек от истины. Но она твердо решила не убежать.

— Получилось бы, что все, что я сделала, я делала только для того, чтобы спасти свою шкуру, — объясняла мне она. — Так нет же!

И как только открылся первый советский репатриационный лагерь, она явилась туда и назвала свое имя. Вечером того же дня она была доставлена в Москву.

— Вы изменили Родине, — сказал ей на допросе Меркулов.

— Нет, Родина изменила мне, — ответила она.

Не знаю, правильно ли она сделала, вернувшись на муки: она ведь и теперь была реабилитирована только по первому

делу, а по второму — только амнистирована... Какие могут быть моральные счета с такими господами, как Берия или Меркулов? Но она была такой, как была и, вероятно, не могла иначе. Уж очень все мы боялись оказаться шкурниками. Мы во многом были неправы, иногда даже в этой высокой боязни. Но можно ли совсем без нее?

Вот такой беседой завершилось мое пребывание в Караганде в 1956 году... Теперь уже ничто не мешает моему повествованию покинуть этот город и вернуться в центр тогдашних событий — Москву, где назревала тогда венгерская трагедия, о которой пойдет речь в следующей главе...

Глава третья. *Венгрия 1956-го*

Рассказывать здесь подробно о венгерских событиях 1956 года нет нужды. О них достаточно написано, а я не был ни участником, ни свидетелем этих событий. Только заинтересованным современником. Но они сыграли громадную роль в моей внутренней жизни. И несколько общих слов о них мне все-таки сказать придется.

Да, действительно в венгерском сопротивлении участвовали разные силы, даже нацистские. Галя Якубская, жившая с мужем в одном из военных городков Закарпатского военного округа (он был офицером, но только не венгерским, как, будучи введен в заблуждение, я сообщил в первой части этой книги, а советским), рассказывала мне об изощренных зверствах, которые некоторые повстанцы позволяли себе по отношению к попадавшим в их руки членам семей советских военнослужащих, в том числе и к детям. Она видела тех, кого удалось спасти и привезти в их городок. «Я понимаю, что дело их было правое, а наше нет, — писала мне она, — но я видела истерзанных детей, с которых сдирали кожу, и суди как хочешь, простить этого не могу». К активизации таких сил, к тому, что у таких людей были развязаны руки (а выродки есть у каждого народа, и оправдания им нет), привело упорство венгерского партийного руководства, во главе которого стоял старый революционер, герой нашумевшего в середине тридцатых антикоммунистического процесса Матиас Ракоши. Приговорен-

ный на этом процессе к длительному тюремному заключению, он после заключения пакта Молотова—Риббентропа был уступлен Гитлером Сталину (вероятно, в знак их вечной дружбы) и выпущен из венгерской тюрьмы прямо в Москву. Конечно, гармоническое превращение этого пламенного революционера в сталинского гауляйтера, палача своей страны, может для кого-то представлять психологический интерес, но меня это сейчас не занимает. То, что он и его ближайший соратник Гере, проводники ненавистной большинству населения политики, были по происхождению евреями, не только неприятная для меня как человека того же происхождения подробность, но и фактор, способствующий активизации упомянутых выше нацистских элементов.

Но эти тенденции в описываемых событиях — только неприятная частность. В целом сопротивление было окрашено в демократические тона, проникнуто духом близкого тогда еще моему сердцу утопического «социализма с человеческим лицом». К власти под давлением масс пришло правительство проникнутых этим же духом интеллигентов-коммунистов во главе с Имре Надем. Все мы внимательно следили за развитием этих событий, но меня, как мне кажется, их начало застало не летом в Москве, а уже в сентябре в Коктебеле, куда (в Дом творчества) я получил бесплатную путевку от комиссии Союза писателей по работе с молодыми (до 5 октября — дня консервации этого заведения). Такие же путевки получили Яков Аким, Валентин Сидоров и Виктор Боков.

По-моему, мы и приехали все вместе. Во всяком случае, поселились мы вместе в небольшом отдельном деревянном коттедже с древнегреческим наименованием «Парфенон». Вероятно, имя свое он получил от какого-то остряка из-за имитации колонн, встроенных в его стены. В Коктебеле вообще все отдавало Элладой: и воздух, и названия. Жили мы дружно и весело. Поддразнивали друг друга, разыгрывали, купались, загорали, даже отдали дань местному увлечению — собиранию камней, в том числе и считавшихся драгоценными сердоликов. Их в этих местах волны часто выносили на берег. В этом деле — собирании камней там были чемпионы, только не из нашей компашки. Нас это привлекало редко и ненадолго. Компашка наша была сплоченной,

и все понимали друг друга. Потом разошлись по разным «лагерям», но тогда еще никто не знал, что так будет. Радость проснувшихся надежд и гармонирующий ей вечный воздух Коктебеля объединяли нас всех и вплетались в общую атмосферу «Дома Волошина», Максимилиана Волошина, который основал это литературное пристанище и жил здесь постоянно. Дом этот, построенный им у самого моря (теперь при входе с пляжа на территорию Дома творчества, которого тогда не было), — «Дом поэта», как он назван в одном из его самых значительных стихотворений, так и озаглавленном, — был причудливой формы, имитирующей корабль — даже с подобием капитанского мостика наверху, — еще стоял и был в полной сохранности. Возможно, он и до сих пор так выглядит — я там больше никогда не бывал и не знаю. Но убежден, что он выглядел так по крайней мере до тех пор, пока была жива Мария Степановна Волошина, вдова поэта, бывшая душой этого дома. Не знаю, как она справлялась с функционерами Литфонда, но как-то — пусть даже с переменным успехом — справлялась, и дом стоял*. О ней, о ее рассказах про Волошина, картинах хозяина дома, которые она показывала (он был, чего я до этого не знал, еще и талантливым живописцем), писали многое и многие, начиная с Мандельштама и Цветаевой, Эренбурга и кончая моими сверстниками и даже людьми чуть помоложе — и я не могу к этому ничего добавить. Хотя тоже храню благодарную память о ней.

У этого дома — не столько Дома творчества, сколько «Дома поэта», но захватывало и Дом творчества — были свои традиции. Я бы даже сказал, свой традиционный круг. Он состоял из «старорежимных» (или превратившихся за годы сталинщины в «старорежимных») интеллектуалов и литераторов, которые, как мне кажется, обычно съезжались сюда именно в это время, то есть перед окончанием сезона. По-моему, не все они даже жили в Доме творче-

* Кажется, первый этаж ее дома прямо относился к Дому творчества (что и давало ей основания обращаться в Литфонд). Кроме того, тогда уже можно было играть на культурно-исторической ценности дома, на вытаскиваемых тогда уже понемногу из забвения именах Цветаевой, Мандельштама, да и самого Волошина, не говоря уже об известных советских писателях, здесь бывавших, из которых некоторые, допустим, К.Г.Паустовский и И.Г.Эренбург, всегда бы поддержали Марию Степановну в ее хлопотах.

ства, некоторые останавливались в поселке, на снятых или приобретенных в собственность квартирах. Нам повезло, что мы оказались рядом с этими людьми. Далеко не со всеми нам пришлось общаться, на дальнем плане промелькнули для меня искусствовед, профессор Александр Габричевский и исследователь Хлебникова профессор Степанов, и еще другие, чьих имен я вообще не помню. Но общий дух высокой культуры и несокрушимой порядочности действовал и на меня. Эти люди никогда не занимались политикой (хотя как сказать — в иные годы и любовь к импрессионистам была «политикой»), но всегда оставались верны себе и своим представлениям о должном. Это не значит, что им не приходилось ладить с патологическими обстоятельствами (без потерь это время не прожил никто), но все же это значит, что свое не забывалось. Значение для них этого «своего», верность ему преувеличить трудно. Оно ощущалась за ними, привлекало и, воскрешая для нас известное по книгам, осуществляло связь времен — учило. Даже без непосредственного общения. Впрочем, «вечера у камина» в доме Марии Степановны тоже сближали.

Во мне они укрепили понимание особой природы и особой роли искусства. Я и раньше об этом много думал — именно ввиду обилия у меня «общественной» тематики. Я, конечно, знал, что не в тематике дело, но обвинения сыпались, и приходилось думать, уяснять для себя, в чем его специфика. Именно потому, что я шел по краю. Но я всегда знал, что специфика и независимость искусства, в частности поэзии, не в сепаратности. В те дни — как всегда, на волне общественного подъема — появлялся соблазн игнорировать эту специфику, принимать за нее «смелость» (как и в самой общественной жизни подменять стремление к пониманию декламацией), и поэтому вопрос о специфике, то есть о сущности искусства (вопрос для меня изначально не столько «профессиональный», сколько духовно-культурный), приобретал для меня особую остроту. А весь этот круг был носителем этой специфики, этой духовности, и мне нравилось вращаться в нем — пусть даже на его периферии.

А по-настоящему подружился я тогда только с незабвенной Еленой Александровной Благиной, женой поэта Георгия Оболюева, близкого, как мне кажется, к обэриу-

там и за это пострадавшего. В тот момент его рядом с ней не было, хотя вспоминала она о нем часто и с любовью — видимо, он был еще в лагере или в ссылке, но я почему-то считал его погибшим и его в связи с ней не помню*...

Она сама была талантливым поэтом. Детским и, думаю, не только детским... Человеком высокой культуры, точного ума и вкуса, а также невероятного обаяния, какой-то особой, по выражению Яши Акима, «русскости», естественно и свободно исходившей из нее. Общался я с ней и после Коктебеля, но больше по делу — одно время я пытался переводить и детские стихи, впрочем, и такое общение с ней было ценным, содержательным и доставляло радость.

В Коктебеле мы не только общались и работали (я там, наконец, закончил начатый еще в середине пятьдесят третьего роман в стихах «Начальник творчества» — написал последнюю, лучшую его главу), но и веселились за «чашами» местного «вина имени Сталина» — мы его так называли по имени местного колхоза, который его производил и продавал. Но поскольку в дни нашего пребывания в Коктебеле или незадолго до этого был опубликован указ о переименовании Автозавода имени Сталина в Автозавод имени Лихачева, ленинградский остряк Дмитрий Молдавский, поклонник формалистов и пропагандист Суркова, ко всеобщему удовольствию, переименовал это вино в «лихачевку». Веселились как могли — под коктебельским небом это было естественно.

Подружился я там и с очень талантливым украинским поэтом Дмытром Павлычко. Вообще-то говоря, украинских литераторов в Коктебеле в тот сезон было особенно много... То ли просто так получилось (ведь нет в этом ничего удивительного или дурного), то ли кем-то осуществлялось мероприятие по закреплению позиций — ведь незадолго до этого свободолюбец Никита с пьяного, как я думаю, предрасполагавший и, конечно, не предвидя последствий (тогда это ведь реального значения не имело), подарил Крым Украине.

Держались они обособленно. И лишь один Дмытро, не только самый талантливый и подлинный (вообще подлин-

* По свидетельству С.Э.Бабнышевой, он потом освободился и в начале шестидесятых они вместе жили на ее даче в Голицыне... Но для меня то, что он уцелел, — новость. Видимо, в начале шестидесятых я мало с ней общался — завертелся...

ный) поэт, но и самый осознанный сепаратист среди них, больше держался нас... Сближали нас демократическая настроенность и — не побоюсь сказать — духовно-интеллектуальный уровень. Для него его украинизм был естественным проявлением сути, а не прикрытием бедности, как для многих (разумеется, не для всех). Кстати, когда я вскоре был в его родном Львове, где он продолжал еще жить, его книгу с красивым названием «Партия клыче» («Партия зовет») сняли с прилавков магазинов не за националистические стихи, а за прочитанный им мне еще в Коктебеле сонет о смерти Торквемады, после которой люди боялись хотя бы улыбкой выдать радость — видно, очень хорошо помнили, что тиран сдох, но тюрьма цела. Стихотворение это замечательное, его лучше процитировать, но я, к сожалению, его перевел! Не знаю и других переводов и поэтому приходится ограничиться упрощенным пересказом. Но для иллюстрации моей мысли этого достаточно.

После этого наши пути с ним не раз пересекались. И встречались мы всегда, как друзья. Я никогда не сочувствовал ни одному из советских сепаратизмов, украинскому тоже. Мне и теперь вовсе не по душе, что город, где я родился и рос, стал зарубежьем, пусть даже «ближним». А то, что продельвается в эти дни (февраль—март 2002) с выборами в Крыму, вообще омерзительно. Не знаю, как к этому относится сейчас Дмытро, но с его сепаратизмом я не был согласен никогда. Но я всегда любил его как поэта. И очень любил его украинский язык. Я вообще люблю этот язык, единственный кроме русского, которым я владею. Но он этим языком владеет виртуозно — не только в стихах, но и в устной речи. Мне нравилось не только его читать, но и слушать. Когда мы разговаривали, я никогда не хотел, чтобы он переходил на русский. Не потому, что он говорил плохо, — он говорил по-русски вполне свободно, — а потому, что терялась прелесть его украинской речи. И часто мы говорили так: я по-русски, а он по-украински. Он родился в Украинской Галиции, но говорил не на местном диалекте, а не каком-то всеобщем комплексном украинском языке, он как бы синтезировал этот язык, но все произносимое им было всегда настолько естественным, что казалось существовавшим всегда. Такое у него было чувство языка. Неужели сейчас, если бы мы встретились, мы бы

совсем не нашли общего языка? Жаль, если это так, мне бы не хотелось.

Однако я слишком рано оставил за спиной Коктебель сентября 1956 года и едва не забыл упомянуть, может быть, о самом значительном из его тогдашних постояльцев Василии Семеновиче Гроссмане. Он не входил в тот круг, о котором я только что говорил, и относился не совсем апологетически к тому, что вообще было связано с историей «Дома Волошина». Он не отрицал ценности того, что за ним стояло, но и не разделял высказываемых мной восторгов. Точно его тогдашних мыслей на этот счет я не знаю, коснулся у нас этой темы разговор только один раз, и случайно. Помню только, что в ответ на мои восторги он мельком между делом обронил какую-то не очень четкую фразу вроде:

— Да, конечно... Но не во всем это так...

И распрошался. Они с женой торопились на автобус, ехать к какой-то бухте, где, по общему убеждению, сердоликов на берег выносило больше, а соискателей бывает гораздо меньше, чем на нашем пляже, — они были страстными коллекционерами этих камней, славились на весь Коктебель. Хотя в круги коктебельские, повторяю, Гроссман не входил. Он и жил не в доме Марии Степановны, не в одном из коттеджей, а занимал с женой то ли номер, то ли квартиру (не знаю, как назвать) в двухэтажном доме обычной постройки, расположенном в центре территории. Был приветлив со всеми, но в светской жизни Дома творчества участия не принимал. Не из гордыни или неуважения, а просто много работал.

Как я стал ходить к нему, кто меня с ним познакомил, сейчас уже не вспомнить, но ходить к нему я стал. Он относился ко мне внимательно и доброжелательно, даже с интересом. К моему «Начальнику творчества», над окончанием которого я тогда работал, — одобрительно. Ему это тогда должно было быть близко — он, как мне кажется, и сам еще не перешагнул через Ленина. Хотя глубина его мышления и отношения к жизни не укладывались в эти рамки. Но природу сталинщины он понимал прекрасно — просто потому, что знал и чувствовал историю и психологию российской социал-демократии, а также большевизма, а раз так, то как к ним ни относишься, не мог не чувствовать чуж-

дости им, а значит, и вообще тотальное самозванство Сталина, требовавшее перманентной компенсации и тотальной подмены. Так что для таких людей, как Гроссман (а по своей природе он, конечно, был социал-демократ, то есть меньшевик), фокусы Сталина были открытой книгой. Кстати, и в эмиграции раньше всех понял природу сталинщины меньшевистский «Социалистический вестник». Я вовсе не стал сочувствовать идее социализма, как и вообще идейности, но такая идея была и привлекала к себе сердца отнюдь не только дураков и подлецов, но Сталин, выступая от ее имени, не имел к ней, как и ко всякой другой, никакого отношения. И Гроссман это хорошо понимал. Однажды в ответ на главу о Сталине из моего «Начальника творчества» он прочел, тогда еще не опубликованную, главу о Гитлере из романа «Жизнь и судьба». То, что в ней говорилось о Гитлере, вполне относилось и к Сталину. Гитлера (а следовательно, и Сталина) он трактует как компенсирующегося неудачника. В принципе, это верно, и тогда я полностью с этим согласился. Сегодня в свете того, что мне стало известно об этих двух и многих других, я хочу к этому добавить, что это неудачники особого рода. Они далеко не всегда совсем тупы и неспособны, но претензии их намного превышают их возможности и, скажем так, посвященность... И они яростно претендуют на то, на что изначально «не тянут». В наше время все кажется доступным, и легко обнаружить свое сходство с кем-либо из великих — ведь столько их биографий выпускается. Эти претензии входят в плоть и кровь, и люди эти способны испытывать подлинные муки творчества, не будучи творцами. В жажде состояться они и стремятся к абсолютной власти, дабы с ее помощью устранить все, что мешает им совершить великое или просто престижное (это относится не только к властителям стран — претензии эти бывают разного уровня), а по существу, инстинктивно и сознательно стремятся и способны с помощью этой власти свести все высоты духа к своему уровню и тогда уж свободно совершить свое, доступное их представлениям «великое». Это болезнь нашей цивилизации, у которой, как уже здесь намекалось, много модификаций. Она не исчерпывается то и дело возникающими — теперь больше на ее периферии — вождями. А насчет вождей — думаю, что к Ленину, Троцкому и Гитлеру

это относится больше, чем к Сталину. Тут случай психологически более примитивно-уголовный.

Хочу еще отметить, что сказанное мной, может быть, и дополняет то, что говорил Гроссман, но никак не противоречит этому. К сожалению, я мало что могу добавить к уже мной здесь рассказанному — у меня остались не какие-то детали, даже не высказывания (мы больше говорили о сталинщине, тогда это многих волновало непосредственно, но позиции наши были близки), а общее ощущение его личности, ее серьезности и подлинности, значительности. К сожалению, в Москве я с ним не встречался: то ли не решился, то ли не собрался позвонить. Завертелся. Ведь тогда только-только по-настоящему и к тому же запоздало начиналась моя жизнь — было от чего завертеться. Да и его личная жизнь почти сразу после нашего возвращения, по слухам, усложнилась, и мое появление в его доме выглядело бы, как мне казалось, неуместно. И к тому времени, когда был арестован его роман, отношений между нами совсем не было. Хотя я по-прежнему ценил его высоко, и до меня доходили его дружественные отзывы обо мне. Естественно, он ощущал меня на своей стороне, не думаю, что он в своих обстоятельствах очень нуждался в моем посещении, но все-таки я испытываю нечто вроде угрызений совести. Вскоре он умер.

Все, что я сейчас рассказывал, было лирическим отступлением от главной темы. Всем этим в сентябре 1956-го был напоен коктейбельский воздух. Почему-то мне кажется, что и венгерские события для нас тоже начались в Коктебеле, что впервые услышали мы о них по радио именно там. Они нас наэлектризовывали. Недавно о своем отдельном — польском — пути к социализму заявляли поляки, теперь о необходимости своего — венгерского — заявляют венгры.

— А не пора ли и нам найти свой русский путь к социализму? — ухмыльнулся однажды Валя Сидоров. Он не имел в виду ничего националистического или даже почвеннического. Во всех трех случаях имелся в виду не какой-то конкретный национальный путь, а просто избавление от сталинской прострации... Сам по себе «путь к социализму» еще возражений ни у кого не вызывал — во всяком случае, в СССР. Да и не только в СССР — Витэк Ворошильский тогда еще вовсе от него не отказывался. Все хотели «соци-

ализма с человеческим лицом» — сочетания его со свободой, и вроде к этому шло. Но советскому руководству это не нравилось не потому, что это утопично, а потому, что оно сильно подозревало, что у него самого лицо несколько иное. И это чувствовалось.

На этом мы сошлись со знаменитым партизанским генералом и писателем Петром Петровичем Вершигорой. После войны он опубликовал в «Знамени» свои воспоминания о партизанах «Люди с чистой совестью», о которых в свое время много говорили и писали. Не знаю, читают ли сейчас эту книгу, но уверен, что о ней, даже если теперь ее забыли, вспомнят. В ней много ценного и важного, хотя она была напечатана при Сталине. Но самое удивительное то, что в ней впервые был упомянут 37-й год, как имя нарицательное. Во время этой вакханалии был арестован будущий партизанский комиссар Руднев, правда, потом справедливость восторжествовала, Руднева выпустили, и создается впечатление, что вакханалия кончилась, что она просто была случайным наваждением, которое схлынуло. Я не буду ссылаться на цензурные и прочие условия тогдашнего времени, ибо убежден, что это не было мимикрией — он на самом деле так думал, когда воевал и когда писал эту книгу. Конечно, не думал, что выпустили всех невинных — у нас всегда с порядком неблагополучно. (Да только ли он?) И не только потому, что думать иначе, осознавать, что ты живешь в мире, где такое — закон, было невыносимо, но еще и потому, что признание всего этого реальностью противоречило не только всему святому и человеческому, но и элементарной человеческой логике. Но так или иначе тридцать седьмой год был выделен и назван как явление отрицательное. Таких прорывов реальности до этого еще не было. Этим и объясняется то, что я сразу отнесся к нему доверительно. Помню, что о начале венгерских событий он узнал от нас. Отреагировал он мгновенно и точно:

— Почему так получается? А потому, что «А» сказали, а «Б» не говорят.

Это то, что мучило всех: разоблачили Сталина, а причин и последствий как будто не только не было, но и быть не могло, не бывает.

В другой раз я у него спросил:

— Петр Петрович, а бывает у человечества опыт?

— Какой, технический? — осведомился он. В сущности, в этом ответе вопросом на вопрос уже был ответ. И когда я сказал, что имею в виду не технический опыт, а вообще — допустим, способность учитывать то, что уже было, заключил категорически:

— Нет, не бывает. Все опять повторяют. Как ни в чем не бывало.

Он был умным и интеллигентным человеком (войну он встретил в должности режиссера на Киевской киностудии), был по натуре общителен, но почему-то был одинок, оказался между средами и вне среды*. А здесь он был окружен не только почетом, но также вниманием и пониманием и с удовольствием рассказывал всякие байки о себе. Помню я только две. Одна партизанская, полузабавная. Очень даже «полу». Вторая относится к обстоятельствам не партизанским и совсем не забавна. Начну с первой.

— В 1944-м (дату воспроизвожу по памяти и логике событий), после того как Ковпака отозвали в Совет министров, командиром отряда был назначен я. Приказано мне было готовиться к повторению Карпатского рейда. Но про себя я знал твердо, что выполнять этот приказ не буду. Да и мои хлопцы не пошли бы — они и слышать про Карпаты не хотели. Это только слава, что «Карпатский рейд!.. Карпатский рейд!.. Наше знамя над Карпатами!», а на самом деле — глупость. Туда ведет только одна горная дорога — мы по ней прошли, немцы ее заперли, и назад нам пришлось продираться с боем. Там и Руднев погиб. Да один ли только Руднев — много там полегло. А зачем? Руднев... Короче, второй раз в эту западню хлопцы бы мои не пошли. И я бы их не повел. И готовился я к другому рейду — в Польшу. Мы недалеко от нее находились, да и война еще к ней подходила. Но все мои предложения на этот счет отвергались: «Не смей нарушать государственную границу СССР!» Но что-то делать было надо, и я решился, — в один из дней отключил связь и на свой страх и риск приказал идти в Польшу. Мы там сразу наделали много шума, захватили трофеи, ко мне выходили представляться польские коман-

* Эту блокаду догадался однажды прорвать Виктор Некрасов, явившись к нему с друзьями, выпивкой и вопросом: «Кто твои враги?» Враги оказались общие, но завязыванию дружбы помешала смерть П.П.Вершигоры.

диры. Сначала самые реакционные (его, притом тогдашнее, определение), а только потом прогрессивные — батальоны «хлопски»*. В общем, дело пошло. Правда, связь у меня по-прежнему была отключена, и нас уже десять дней безуспешно ищут по всему эфиру. Ладно, думаю, там видно будет, обойдется. Но однажды приходит ко мне командир одного из взводов и докладывает:

— Там, товарищ командир, якыйсь-то полячок прыйшов — кажэ, шо мае до вас якэсь дило. А шо за дило, нэ кажэ. Я вжэ йому казав: «Та пишов ты, та вши не водстае...»

— Ну, раз так, — говорю, — давай его сюда.

Ну и приводят ко мне этого полячка, а он сразу:

— У вас связь с Москвой есть?

— Есть, — говорю, а сам думаю: только этого мне сейчас не хватает...

— Так вот, надо срочно передать туда вот это, — и протягивает лист бумаги. — Это возможно?

Смотрю, шифровка. А шифр незнакомый. Как будто коминтерновский, я такой где-то видел.

— Надо у радистов спросить, если смогут — передадим.

Радист сказал, что расшифровать это сообщение не может, а передать может вполне. И передал. Через пару часов пришло две шифровки: полячку его шифром, а мне — моим. Мне предлагалось выполнить все указания полячка. Он спросил меня о маршруте моего движения и назначил место встречи... Я послал по этому маршруту разведку, а сам с основными своими силами к месту встречи пошел другим: все-таки я находился в тылу врага и отвечал за людей. К месту встречи полячок привел целую команду и сказал, что ее надо срочно перебросить в Москву. Я приказал спешно оборудовать посадочную площадку и сообщил обо всем в Центр. Центр запросил мои координаты и сообщил, что самолет за этой группой отправлен. И тут же я получил грозный приказ: «Объясните, на каком основании вы нарушили Государственную границу СССР?» Но писать объяснение не пришлось, подошли крупные силы немцев, пришлось занять круговую оборону и вступить в бой. Обычно мы при соприкосновении с превосходящими силами про-

* Ими командовал Мочар, в будущем вождь партийных антисемитов. Но о таком его развитии ни Петр Петрович, ни его слушатели знать тогда не могли... Может, и сам Мочар о нем не подозревал.

тивника стремились как можно быстрее уйти — мы партизаны, а не регулярная армия, у нас другие возможности и задачи, а сейчас нельзя, надо дождаться самолета. Я обо всем забыл — кроме боя. И тут опять появляется этот полячок. Полячок:

— А что в этой ситуации вы можете предложить нам?

— Ну что я могу в это время предложить? — отвечаю. — Только автомат, и в цепь.

— Нет, — говорит, — это нас не устраивает.

— Ну тогда как хотите.

— Нет, и это нас не устраивает. Нам на всякий случай маскировка нужна для немцев. Арестуйте нас и посадите под стражу в какой-нибудь амбар.

Так я и приказал. И опять о них забыл. Но в самый горячий момент явился один знакомый мне партизан. Он раньше при мне вестовым был — достался мне в наследство от Ковпака. Он у него по расстрельной части был. Приходил ко мне и щелкал пальцем, как бы спуская курок, интересовался:

— Товарищ командир, а как там насчет работешки?

Я потом придрался к чему-то и усладил его в комендантскую роту. Оттуда он сейчас и явился.

— Так что, товарищ командир, мы уже этих полячков приготовили... Прикажите кончать.

Я даже не сразу понял, о чем он говорит, а когда понял, взревел: «Да вы что?» и бросился к амбару. Вижу, сидят мои полячки уже все как один раздетые, в одном белье, а мои ребята сидят вокруг костра и делят их одежду.

— Вернуть все!.. Сию же секунду! — заорал я вне себя от ярости и был, наверное, при этом настолько страшен, что все сразу вернули, только штаны одного из полячков так и не нашлись.

Слава Богу, самолет скоро прилетел, поляки улетели, и мы смогли оторваться от противника. Но когда мы обосновались на новом месте, меня вызвали в Киев, в ЦК КП(б)У. Прямо с самолета явился к Хрущеву, но его помощник Гапочка сказал, что он сейчас в Москве, скоро прилетит и меня примет. И ясно было, что ничего хорошего это мне не сулит... И работники ЦК, с которыми я заговаривал, обращались со мной как с человеком обреченным. Нечего делать, пошел бродить по городу. Купил в киоске «Правду».

Смотрю: на видном месте сообщение, что образован «Польский комитет национального освобождения», а ниже портреты его членов помещены. Вгляделся — да это ж мои полячки, все как один. Может, это меня выручит, думаю, вот главный мой полячок — Гомулка, а тот, чьи штаны не нашлись, глава этого комитета, Осубко-Моравский.

Хрущев принял меня хорошо. На объяснение, которое я приготовил и привез с собой, даже смотреть не стал. А сказал:

— Приготовьте список на двенадцать человек для получения звания Героя Советского Союза, но одно место оставьте незаполненным (понятно было, что это для меня самого).

— Но я составил список в четырнадцать человек.

— Какое у вас образование, товарищ Вершигора? — спросил Хрущев. Я ответил, что два высших.

— Почему ж вы так плохо считаете?

— Потому что люди заслужили, — ответил я. Потом разговор перешел на другую тему...

— Какое у вас воинское звание, товарищ Вершигора? — спросил Хрущев. Я ответил, что я дважды подполковник. Второй раз по ошибке присвоили то же звание.

На этом кончается первая байка Петра Петровича. Если не считать истории со штанами Осубко-Моравского, который ввиду его комической красочности можно заподозрить в некотором невинном — для смеха — утрировании (хотя и это могло случиться), все остальное в ней для меня абсолютно достоверно. В том числе и ее почти святочный конец. Да, вместо того чтобы попасть в жесткую, а то и жестокую опалу заслушание, рассказчик получил звание Героя Советского Союза и генеральские погоны (стал генерал-майором). Но если бы случайно не вмешалась большая (или только ощущающая себя такой) политика, превратившая проступок в подвиг, его отказ вести людей в бессмысленный, чреватый громадными потерями рейд привел к совсем другому, отнюдь не святочному концу. Сам Петр Петрович, такое создалось у меня впечатление, никакого умиления по поводу этого конца не испытывал. Второй его рассказ — байкой его не назовешь, ибо комичного в нем нет ничего — подтверждает это мое представление о нем. Да это и не рассказ. Просто человек говорил о наблевшем.

— После войны я командовал всеми войсками, действовавшими против бандеровцев. Вступив в должность, я прежде всего по своему обыкновению провел разведку. И пришел к парадоксальному для многих выводу: никаких бандеровцев практически нет, а есть только маленькая группка студентов-националистов, а остальное — мужики, которые не хотят в колхозы. Я обратился в ЦК КП(б)У с предложением объявить о том, что коллективизация в западных районах Украины откладывается до лучших времен. Тогда основная масса бандеровцев разбежится по домам, националисты окажутся изолированными и с движением будет покончено. Мне казалось и кажется, что предложение было разумным. Но оно было с гневом отвергнуто. Мне было указано, что я должен вести боевые операции, а не выступать с политическими предложениями. И тогда я понял, что ничего разумного тут сделать не смогу, разве что при случае спасти такого вот заблудшего парнишку (он показал на Дмитро Павлычко), и остается мне здесь только одно — стать бессмысленным палачом своего народа. И я попросился в отставку по болезни...

Подчеркиваю: слова «стать бессмысленным палачом своего народа» — это в точности его слова, они не подверглись здесь никакой перефразировке. Человек, способный хотя бы мысленно произнести эти слова, неспособен умилиться тому, что те, кто толкал его на гибель в Карпаты, сменили гнев на милость. Это удивительные по точности самосознания слова. В этом и была суть сталинщины — что она плодила не просто палачей (это делала и ленинщина), а палачей **БЕССМЫСЛЕННЫХ**, не нуждающихся в оправдании смыслом своих деяний, способных на любые «карпатские рейды», для показухи без толку губившие тысячи и тысячи. Петр Петрович явно «не монтировался» в том слое, в котором оказался. И приехав после увольнения в Киев, он не только ощутил себя во враждебной среде, но и почувствовал, что если долго здесь задержится, сотрут в порошок, посадят, убьют. В Киеве обращение к здравому смыслу, да еще и в вопросе о коллективизации, было наиболее опасно... Может, потому, что правили там тогда еще выдвигенцы украинской коллективизации, своей тупой жестокостью («голодомором») превзошедшей аналогичные мероприятия почти во всех остальных районах страны. Правили люди,

привыкшие быть наиболее бессмысленными и тупыми палачами своего народа и ненавидеть всякое проявление осмысленности — а кто бы другой мог выматывать голодом своих односельчан?

Допускаю, что и у них своя трагедия. Но Петру Петровичу ждать от них хотя бы примирительного отношения не стоило, и он спешно переехал в Москву. Там все-таки воздух был легче. Его — что ни говори, легендарный партизан, а тогда это еще ценилось — зачислили в Академию имени Фрунзе и, в общем, легализовали. Даже книгу он смог выпустить, в которой настолько и так выразился, что при встрече в более либеральные времена воспринимался мной и другими как близкий и понятный человек, вызывавший полное доверие.

До чего же трагичной была наша эпоха! Она разводила по разным станам не только хороших людей с плохими, но и хороших с хорошими. В Мюнхене я подружился с талантливым украинским писателем-эмигрантом Игорем Качуровским, тонким, чутким и порядочным человеком, но судьбы прямо противоположной. Сын раскулаченных, рано лишившийся родителей, которых уважал, вынужденный несколько лет подряд скрывать свое происхождение (для получения образования и просто чтоб выжить) и в связи с этим держаться подальше от родных мест, он ждал немцев как освободителей и избавителей, а когда дождался, то они ему не понравились — видимо, советской пропаганде о них, как и мой оставшийся в Киеве дядя, он не верил (она ведь и про его родителей лгала), и многое оказалось для него неожиданностью. Нет, он не переменял ориентацию, не стал сочувствовать «советам», он даже потом ушел с немцами, но во всех обстоятельствах вел себя как порядочный человек, старался при случае помочь тому или иному еврею спастись (что наказывалось, как в Средние века). В своих книгах, талантливых и очень для меня информативных, он не выказывает никакой симпатии к немцам, но выражение «люди с чистой совестью» употребляет только иронически. И это понятно — среди тех, за кем охотились партизаны (и с кем обращались далеко не всегда по-джентльменски), были не только предатели из шкурничества, но и люди его судьбы, а то и просто близкие ему люди. И вряд ли Петр Петрович, попади они ему в руки во время войны,

помиловал бы их. В тот момент он (да и я с ним заодно) не мог бы понять Игоря, как и Игорь — его. Ведь и сотрудничество с нацистами — не пустяк. Для того чтобы все утряслось, должны были пройти годы. Конечно, и без сталинской лепты тут не обошлось. И не только потому, что этот раздрай, эти взаимопонимание и ненависть вызваны его коллективизацией, — это главное, но он еще и просто стимулировал этой жестокостью взаимную ненависть, в которой всегда нуждался... Как в этом во всем было разобраться во время такой войны? Трагична судьба нашей общей Родины.

Разумеется, тогда у меня таких ассоциаций и мыслей не было, да и о самом Петре Петровиче, несмотря на всю значительность его личности, в частности для меня лично, я стал сейчас говорить только в связи с тем, чем мы тогда жили — в связи с венгерскими событиями, воспринимаемыми всеми нами только как попытка окончательного освобождения коммунизма от сталинской скверны. С тем мы и в Москву вернулись, которая — во всяком случае, та, которая меня окружала, — жила тем же... Не следует слушать «бойцов поколения» и соблазняться мыслью, что мы были идиотами. Я уже писал о том, что на нашем отношении друг к другу и вообще к людям никакие догмы и исторические выкладки не отражались даже при Сталине. А уж после отказа от него ничто не мешало смотреть на мир открытыми глазами. «Подлинный коммунизм» ввиду своего отсутствия в жизни был для нас явлением, как теперь говорят, только виртуальным. Но мы за него держались, и это сковывало наше понимание. Вероятно, Петр Петрович тоже. К сожалению, точно я этого не знаю. В Москве, в тогдашней суматохе я потерял с ним связь (да и умер он сравнительно скоро).

Венгерские события захватывали нас целиком... Ежедневно при встречах и по телефону (последнее осторожно) обменивались новостями, переживали, надеялись... Этим надеждам настал для меня конец, когда однажды — не помню только, утром или пополудни — я позвонил Г.Б.Федорову. И в ответ на мои очередные соображения он ледяным тоном сообщил мне, что наше правительство решило ввести свои войска в Венгрию, и изложил соображения, по которым оно это сделало — естественно, речь шла о

защите завоеваний революции и социализма. Сообщил он все это так, будто принимает эти объяснения всерьез. Но я почти сразу понял, что это для постороннего слушателя. Потом я и сам пользовался этим способом обмена информацией по телефону — давал «гневную отповедь вражеским голосам», но при этом сообщал, что удалось по ним услышать. Сейчас же я был подавлен произошедшим. В основном интеллигенция (да и не только она — многие рабочие тоже) все воспринимала, как я. Но находились и желающие поверить. Помню одного сценариста, которого долго дискредитировали за происхождение, но у которого недавно приняли к производству сценарий. Он надрывался, защищая необходимость интервенции... Это умение свято верить в святость того, что тебе в данный момент выгодно, меня всегда удивляла... Таких людей я совсем не по-христиански (прости меня, Господи!) просто как бы вычеркивал из списка живых.

Должен сказать, что в 1968-м, во время интервенции в Чехословакию, таких было намного больше. Кстати, чехи в 1968 году, в отличие от венгров в 1956-м, не выходили из Варшавского пакта и даже не вели самостоятельной внешней политики, как Румыния. Эта политика часто шла вразрез нашей и доводила своим неподчинением Политбюро до бешенства, но Румынию не трогали. Было даже вслух сказано, почему — Румыния не посягала на основные завоевания социализма, что в переводе с совпартязыка на язык человеческий означает: «не допускала независимой свободной прессы». И потом в Румынии у власти стояли не верующие коммунисты, а свой брат-номенклатурист, только хвативший лишку — Чаушеску. И как раз критики с коммунистических позиций советского больше всего боялись советские номенклатурные вожди. На фоне этой критики и этих «верующих» яснее всплывало их унаследованное от Сталина самозванство. И, наверное, никого они так не ненавидели, как верующих Имре Надей, Смарковских, Кригелей и других таких же. Но во время Пражской весны я уже давно не считал себя коммунистом, а когда штурмовали Будапешт, еще считал. И поэтому чувствовал себя вдвойне оскорбленным: и потому, что мне вешали лапшу на уши, нагло пытаясь выдать за контрреволюционеров таких революционеров, как Имре Надь, и потому, что губили при этом

возрождение большевизма в его «чистом» романтическом виде. Помню в одной пропагандистской брошюре фотографию, озаглавленную: «Банда такого-то (какого, не запомнил) района Будапешта», а на фотографии вдохновенные молодые лица студентов и рабочих, как и положено при всякой революции. Такими, я тогда верил, были и наши красногвардейцы в Питере. Насчет наших я ошибался — но речь пока не об этом.

В состоянии двойной оскорбленности мне оставалось быть недолго, оно подтачивалось. Меня, например, удивляло, что с этим поведением и этой фразеологией мирились другие коммунистические лидеры — правда, некоторые с оговорками. Но разве такой компрометации всей их идейной структуры можно противопоставить оговорки?.. Поражало, что мирились они и с антисемитизмом, резко проявленным свободолобцем Никитой во время так называемой англо-французско-израильской агрессии против Египта (в ответ на национализацию Насером Суэцкого канала). Операция провалилась ввиду самоубийственного, предательского по отношению к союзникам вмешательства Соединенных Штатов (впрочем, СССР приписал эту «заслугу» себе). Но дело для меня сейчас не в этом, а в разнице тона, в которых были написаны протестующие ноты правительствам Англии и Франции, с одной стороны (по форме нормальные дипломатические ноты), и правительству Израйля — с другой (хамская издевательская бумага), а также в развернутой в связи с этим пропаганде... И ничего. Все руководители этих крайне интернационалистических партий (они тогда не были заменены найденышами типа последнего французского генсека Марше) съели это молча. И антисемитизм стал навсегда вечным — где более открытым, где более скрытым — атрибутом коммунизма. Только через много лет канадский генсек Вильям Каштан добился включения в какой-то документ пункт о необходимости борьбы не только с сионизмом (что к тому времени стало необходимым атрибутом коммунизма), но и с антисемитизмом. Сказывают, побороться пришлось изрядно. Ну и вписали. Почему не вписать, если человек настаивает. Действуют ведь тайные инструкции, а не открытые постановления.

Напоминаю, что я — прав ли я в этом или неправ. — не отношусь к людям, заикленным на проблеме антисемитизма. В эмиграции я вполне мог общаться с людьми, придерживавшихся антисемитских воззрений, — конечно, если они не пылали жадной меня убить, — но ведь они не были по совместительству коммунистами. А говорю я сейчас о коммунистах — о тех, кого, в отличие от наших, таковыми считал и чьему мировоззрению это жестко противопоставлено... Их поведение ставило меня в тупик.

Последний удар по моей вере нанесли тоже венгры, только другие — три венгерских коммуниста, выступившие со статьями в газете «Правда». Газету эту я тогда просматривал, черпая из нее не только «информацию наоборот» (как мой отец о том, что действительно происходило в Израиле), но отчасти и просто информацию, только специфическую — о том, в каком виде нам, да и всем на Земле, хотят представить действия Политбюро и их результаты — по существу, это была прямая информация о его действительной политике.

И вдруг я наткнулся на эти статьи. Они выделялись на общем фоне прежде всего стилем. Он не оставлял никакого сомнения, что их авторы — убежденные коммунисты или, во всяком случае, в отличие от советских руководителей или, например, гэкачелиста Шенина, перманентно требующего уважения к своим коммунистическим убеждениям, знают, что это такое.

Эти три венгра были не такими. В их статьях не было никакой советскости (теперь говорят более точно — совковости) — это был знакомый мне и тогда близкий эссеистический стиль коммунистических интеллектуалов. И вот о чем думали эти три убежденных интеллектуала месяца через три после начала интервенции, после того как в крови было задавлено народное восстание в их стране, а Имре Надь со товарищи то ли находились еще в югославском посольстве, где им было предоставлено политическое убежище от ярости интервентов, то ли были уже предательски выманены оттуда, схвачены и увезены неизвестно куда (о том, что все они тут же были расстреляны, эти авторы могли и не знать — это еще долго было интимной тайной Хрущева и его приближенных). Оказалось, что думали они о том, какие были допущены ошибки, позволившие «контрреволюции» под-

нять голову так, что понадобилось введение советских (по-видимому, истинно революционных) войск. При всем своем эссеизме эти авторы не гнушались использовать совковые термины и ходы, говорилось обо всем так, будто в Венгрии и впрямь вспыхнула и была подавлена контрреволюция, и говорилось вполне квалифицированно. Но реальность происходящего этой квалифицированной пропагандистской схемой начисто вытеснялась из сознания.

И мне стало очень не по себе. И впервые я подумал — уже не о сталинщине, а о возлюбленном «истинном» коммунизме: а что остается? И так же, как в Чумакове о сталинщине, ответил — ни-че-го. По сюжету в этом как будто не было ничего сложного, я обнаружил, что привычные мне ценности, стремление к наиболее быстрому и дружному достижению высшей конечной цели, долг перед братством людей, участвующих в заговоре по ее скорейшему достижению, и все тому подобное могут превратить человека в какую-то вдохновенную и боящуюся утратить эту вдохновенность пешку, способную особенно с помощью пресловутой диалектики творить все, что угодно — что по своей структуре строго подчиненное достижению цели братство способно по указанию доверенных лиц работать и прямо против цели. И вдруг вся история партии со всеми ее запрещениями фракций и прочими ухищрениями, которыми столь успешно воспользовался Сталин, прошла передо мной, и я ее увидел в другом свете.

И как раз в это время я прочел вновь изданные «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида, и мне открылось совсем не то, из-за чего эту книгу много лет не издавали. О том, что роль Сталина в октябрьском перевороте была не очень значительной, я и так знал, и то, что великий вождь там почти не упоминался, для меня не было неожиданностью... Произвела на меня впечатление эта книга, истинность свидетельств которой удостоверена самим Лениным, совсем другим — тем, что согласно этому свидетельству (добросовестному, но благожелательному к большевикам) этот переворот был просто путчем, заговором, что большинство его участников не знали и не понимали, что и зачем творили. Судите сами: сорок народных комиссаров (не знаю, откуда столько набралось — видимо, вместе с примкнувшими) вышли из Совнаркома почти сразу

после его образования в знак протеста против ущемления свободы печати. Видимо, сами не знали, зачем свергали Временное правительство... А что тогда говорить о рядовых красногвардейцах, которых откровенно обманывали и использовали? И попробуйте оценить такой факт: судьбу восстания (страны, а может, и цивилизации) решил броневой дивизион: на чьей стороне он выступит, на той стороне и окажется военное преимущество... А он митинговал, слушал разных ораторов и никак не мог решить, к кому примкнуть — к городской Думе (к «соглашателям») или к Смольному. Судьбу восстания (страны, а может, и цивилизации) решило то, что большевики в последний момент выставили более сильного оратора — прапорщика Крыленко, и он увлек дивизион в Смольный, чем обрек всю страну на невероятные муки, а себя самого на бесславную смерть в «секретном» сталинском застенке. И вообще я увидел, что «честные большевики», которым я до этого поклонялся, были не более чем группкой заговорщиков, в чьи руки страна попала случайно, потому что они в тот момент оказались единственной хоть как-то организованной и при этом абсолютно безответственной по отношению к судьбе своей страны силой — «смотрели шире».

Сплотились они в эту группу единственно ради «великой цели» — во всяком случае так им казалось — ради создания базы, с которой начнется вожделенная и необходимая истории мировая революция. То, что было дальше, вытекало отсюда автоматически. Захватив с такой целью и таким способом власть над страной, которая в большинстве своем не имела никакого понятия об этих задачах и с которой они вообще не знали, что делать, они встали перед необходимостью защищать эту свою, никому кроме них не нужную власть любой ценой, — дабы сохранить для человечества упомянутую базу, а заодно и спасти свои головы от вызванной их художествами ярости «несознательно-го» населения...

«Любой ценой!» Для людей типа Троцкого, воспитанных на чтении книг о Великой французской революции, это звучало романтически, но это именно то, с чем они потом привели себя самих и всю страну к Сталину, то есть на заклатание... В ослабленном виде это, если помнит читатель, задело и меня — еле избавился... На самом деле это

выражение подлое и страшное. Оно легализует любую аморальность и бесчувственную жестокость. Мыслилось, что эта «любая цена» будет оплачена грядущим счастьем человечества... До тех пор такая логика меня не удивляла — я ведь и сам так думал, — а теперь я впервые понял, что ради любой цели платить любую цену можно только за свой счет, в крайнем случае за счет тех, кто на это добровольно согласен, а не всех, кто случайно оказался в твоей власти. И тут уже сам собой встал вопрос: а какое право они вообще имели превращать целую страну в свою «базу», то есть подчинять всю ее жизнь внеположным для нее целям, заставлять миллионы людей всей своей жизнью, а потом и кровью становиться средством для удовлетворения духовных потребностей этой группки (даже в тех случаях, когда они были)?

Не Бог вещь какими откровениями я сейчас делюсь. Их с удовольствием сочтут надоевшей банальностью люди типа упомянутых выше «бойцов поколения»: дескать, кто же сегодня не знает, что большевики — дерьмо, а социализм — глупость? Но что делать — тогда не знали, тогда эти истины открывались мучительно, по крупицам и доставляли радость освобождения. Это упомянутые «бойцы», получившие их в готовом виде, способны относиться к ним высокомерно, не интересуясь ни историко-психологической реальностью, ни сутью проблемы. Что ж, таковы их, как говорили в старину, умственные интересы. На мой взгляд, они убоги, но это их дело. Беда в том, что это высокомерие преждевременно. Во-первых, если говорить о России, то теперь далеко не все отрицают как большевизм, так и социализм (хотя гораздо большее количество людей жаждут поклоняться приватизировавшему и то и другое Сталину — вспомните поставленный недавно добродетями памятник в Аткарске).

Я ограничиваюсь тут только самыми духовными, самыми благоприятными для них, самыми легальными объяснениями их поведения, что соответствовало моим тогдашним представлениям — я вообще ограничиваюсь только тем, что знал тогда. Сегодня я знаю о Ленине, большевиках и Октябре гораздо больше компрометирующего (хотя и теперь не считаю, что все социалисты изначально были жуликами и подонками, не все, к сожалению), но об этом я

писал, пишу и буду писать в других работах. А здесь я пишу только о том, что помогло мне прийти к естественным человеческим ценностям ТОГДА. Ибо это мемуары, рассказ о моей жизни, а не историческое исследование.

Конечно, статьи трех венгров были для меня только каплей, переполнившей чашу впечатлений и мыслей, только детонатором взрыва, выбившего пробку из горла вулкана и расчистившего путь магме, разрушившего искусственную преграду на моем пути к самому себе. Другими словами, к приятию и осмыслению своих подспудных эмоций, представлений и тогда еще обрывочных, но впечатляющих сведений о нашей новейшей истории — всего того, на что я раньше закрывал глаза. Эти венгры сыграли в моем развитии ту же роль, что когда-то герои антикосмополитской кампании в отказе от Сталина. Тогда освободились мои отношения с людьми и жизнью, теперь освободились моя мысль и дух. Конечно, этому способствовало и мое взросление, лучшее и более ответственное понимание ограниченности жизни, а отсюда и человеческих ценностей... Ведь и на пути к взрослению тоже стояли запруды — государство инстинктивно заботилось о перманентной инфантилизации сознания своих подданных. Но не все тут было от государства — бессмысленное для земной жизни понятие «конечная цель» выдумало не оно. И ведь не так уж сильно отличалось это понятие от абсолютизации идеи прогресса, к которой были прикосновенны не только коммунисты (это не значит, что я стал врагом всякого прогресса — везде и во всем). А я ведь к этой системе координат привык — как к обстановке собственной квартиры. Но что делать — они не соответствовали человеческой реальности.

В отличие от предыдущего моего отрезвления, это мое освобождение — особенно поначалу — не упростило мои отношения с жизнью, а значительно усложнило их.

Больше в моем сознании не было поступательного движения всего человечества в заданном (кем?) направлении, с которым я сверял все, что происходило со мной и другими... Вроде бы исчез всякий критерий оценки — себя самого, других людей, событий и явлений. Я стал наконец свободным человеком и сразу как бы оказался на краю пустоты или хаоса. Что поделаешь, это ощущение хаоса рядом — один из атрибутов свободы — оказаться на краю хаоса, но

не становиться его частью. Разве не этим живет человечество все свои века? Разве не поэтому жизнь — творчество?

Впрочем, я преувеличиваю, говоря, что все мои критерии полетели: бескорыстие оставалось бескорыстием, ум — умом, культура — культурой, не изменились и оценки людей. Все это оставалось — только основа у всего этого оказалась другая. Эта основа всегда жила во мне, как и в большинстве окружающих, этого, как и я, не сознававших, стояла даже за нашей «идейностью», а в кризисный момент проступила наружу. Читатель уже догадался, что эта основа — религия, для меня — христианство. Кровавая эпоха кончилась (для всех) за три-четыре года до момента, до одного из дней первой половины 1957 года, на котором я кончаю эту книгу, — когда кончились (пусть не для всех еще, но для меня) ее соблазны. О жизни на свободе должна быть другая книга. Успею ли я ее написать, не знаю.

Н. Коржавин

11—13 марта 2002 года

Содержание

Часть четвертая. ПО ЭТАПУ В РОССИЮ

Вступление	5
От Лубянки до Свердловской пересылки	6
Свердловский узел и новосибирское освобождение	33

Часть пятая. ЧУМАКИ

В сибирской глубинке	94
Начало	94
Кульча. Колхозные страды	96
Деревня под названием Чумаки	115
Общее описание и первые знакомства	115
Первые контакты — сплошная «пятьдесят восемь/десять»	121
Райпромкомбинат. Первая неудача	131
Просветление во тьме	144
Районные будни	172
Жили были дед и баба	219
Love story (Любовная история)	238
Артель «Заря»	244
Обращение с дамой	265
Что нам стоит дом построить	272

Часть шестая. ПОЛУВОЛЯ (В «большой зоне»)

Вступление в шестую часть	288
Глава первая. Гость с того света	288
Прикосновение к «воле»	288
Тюмень. «Белое безмолвие»	304
В Москву с «мамками»	317
В Москве 1951-го. Снова у Ляли	326
Сага о носителях анахронизма	334
Встречи с друзьями (1951—1953)	343
Снова в Киеве	383
Калужская попытка	390
Глава вторая. Караганда	421
Еду в Караганду	421
Заезд в Сим (Ностальгическая элегия)	426
Ссылно-поселенческий рай	437
В техникуме и помимо	477
Спуск под землю	519
Карагандинская жизнь	555
В Караганде после амнистии	591
Полноправная командировка	591
В партийной газете	606

Часть седьмая. РАССТАВАНИЕ С СОБЛАЗНАМИ

Глава первая. Возвращение	655
Глава вторая. К свободе духа!	699
Глава третья. Венгрия 1956-го	726

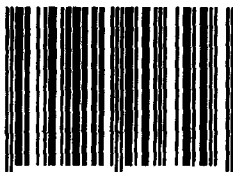
Наум Коржавин
В СОБЛАЗНАХ КРОВАВОЙ ЭПОХИ
Книга 2

Редактор
Игорь Захаров

Художник
Григорий Златогоров

Верстка
Кирилл Лачугин

Корректор
Юлия Баклакова



9 785815 906556

Издатель Ирина Евг. Богат
Свидетельство о регистрации
77 № 006722212 от 12.10.2004

121069, Москва, Столовый переулок, 4, офис 9
(Рядом с Никитскими Воротами,
отдельный вход в арке)

Тел.: 291-12-17, 258-69-10. Факс: 258-69-09
Наш сайт: www.zakharov.ru
E-mail: info@zakharov.ru

Подписано в печать 16.11.2006. Формат 84×108^{1/32}.
Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Бумага писчая.
Усл. печ. л. 39,48+0,63 вкл. Тираж 2000 экз. Изд. № 655.
Заказ № 41.

Отпечатано с готовых диалозитивов
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
<http://www.uralprint.ru> e-mail: book@uralprint.ru